

ЮНОШЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Из всех моих знакомых никого я так не уважал, как Андрея Константиновича¹ Серебрякова. Не встречалось мне никогда человека, жизнь которого была бы так верна его убеждениям, который бы в такой степени неуклонно принимал в расчет то, чего требовала, по его мнению, справедливость, истина или обязанность. А правила его были самые высокие, и главное, он совершенно отрешался от всякого пристрастия к себе, своей личности, положению, и следствия, какие поступок его будет иметь для него самого, принимал в расчет нисколько не более того, как принимал в расчет следствия его для других. Я не знаю, должно ли называть это совершенным отсутствием эгоизма, но если был человек, чуждый эгоизма, то это был Андрей Константинович. Он всегда действовал как нелицеприятный судья между собою и другими не только в немногих представляющихся в жизни человека важных случаях, таких, в которых беспристрастный в отношении к себе и своим выгодам поступок называется самоотвержением, — к этому способны очень многие благородные люди, — а точно так же и во всех ежеминутных мелких житейских делах. Мне кажется, отдавая чистить сапоги, он раздумывал, что в этот день при настоящем положении его и его лакея и их желаний принесет кому больше обременения: ему ли то, что у него не будут чисты сапоги, между тем как ему должно быть там-то и там-то, или его лакею то, что нужно будет употребить несколько минут времени на чищение их, когда ему хотелось бы лучше употребить это время таким-то и таким-то образом, — и уж только рассчитавши, взвесивши все вероятности, убедившись, что в настоящем случае больше неприятностей ему иметь нечищенные сапоги, чем лакею чистить их, решал он, что вправе требовать от лакея услуги. Это придавало ему какой-то странный чрезвычайно, часто даже несколько смешной вид: в самых мелких его поступках слишком была видна какая-то медленность, нерешительность, не то, что торжественность — он был очень прост и особенно не любил эффектности, — а какой-то оттенок той

¹ В рукописи иногда стоит — Борисович. Исправляем всюду эту ошибку. — Ред.

важности, которая всегда должна быть в действиях судьи, сознающего, что над ним и его действиями парят высокие идеи, что того, что делает он, легкомысленно делать нельзя.

Такой судейский колорит не мог не казаться забавным в большей части действий нашей обыденной жизни, при которых не замешано решительно никаких интересов, о которых стоило бы подумать; но в том-то и дело, что ему дала природа склонность во всем тотчас находить серьезную, важную для кого-нибудь сторону, как скупцам, например, дается склонность во всем тотчас замечать экономическую сторону; и в самом деле, сравнение со скупцами может пояснить эту черту в характере Андрея Константиновича: обыкновенный человек идет, например, и не думает о своей походке, выгодна ли она для того, чтобы дольше носились сапоги— это ему и в мысль едва ли когда придет, а если и придет, так он создан вовсе не так, чтоб всю жизнь ему могли приходить подобные идеи и особенно, чтоб они как-то инстинктивно управляли его действиями; а скупец идет — и мысль о том, что от известного рода походки сапоги скорее протираются, от другого — гораздо медленнее, эта мысль до такой степени привычна, естественна ему, что он почти не замечает ее, как, например, не замечаем мы постоянно присутствующей в нас мысли хотя о том, что необходимо для нас дышать; управляет будто какой-то инстинкт его походкою, как мысль о том, что необходимо дышать, машинально поднимает и опускает нашу грудь, не трудясь даже напоминать о своем существовании нашему сознанию. Тем-то и отличается просто человек от скупца, что экономические соображения приходят ему в голову только в таких случаях, когда экономический интерес довольно ясен и велик, а у скупца они идут через все поступки, приплетаются ко всем мыслям, экономичность развита в нем как инстинкт:—так в Андрее Константиновиче была развита в инстинкт экономическая заботливость о том, чтоб его действие, какое бы оно ни было, приносило как можно меньше горя, неприятности, обременения людям, до которых коснутся его последствия или которые должны будут соучаствовать в его исполнении (себя он здесь принимал также в расчет, но не отдавал себе никакого преимущества перед другими), и как можно больше радости, удовольствия, удобства. Мало того, что он принимал тут в расчет людей — [это] естественно было, но тем более странный колорит придавало его жизни то, что тут он принимал в расчет и животных, и вообще все живые существа: он, например, никогда не убивал клопа, если как-нибудь случалось ему поймать его на месте преступления, а просто он отбрасывал его подальше от себя: «конечно, никак нельзя сравнить меня с клопом, а ведь что мне такая ничтожная вещь, что он снова может притти покусать меня, — да еще и придет ли? Да и заметно ли сколько-нибудь будет для меня, что одним из окружающих клопов стало меньше? А для него ведь тут вопрос о жизни и смерти». С этой всегдашней расчетливостью в Андрее Константиновиче была соединена необыкновенная верность в жизни своим убеждениям.

«Как думает, так и поступает он», — говорили про него все; как бы ни странен казался он через какой поступок, противоречащий общепринятому порядку вещей, он не колебался делать его, как скоро, по его мнению, должно было поступить так, а не иначе. Если б ему вздумалось, что нужно ходить босому и с непокрытою головою, он, я уверен, не стал носить бы ни обуви, ни шляпы; — разумеется, при своей всегдашней расчетливости, он решил бы поступить так, конечно, только если причины, заставляющие его отступить от принятого всеми, таковы, что последствия исполнения этого убеждения показались бы ему важнее в хорошую сторону для него или других, чем неприятность выказываться оригиналом (он чрезвычайно не любил, чтоб занимались им другие), подвергаться насмешкам. Точно так же еще менее, разумеется, можно было ожидать от него, чтоб он когда бы то ни было отступил от исполнения своих убеждений, потому что оно потребует какой бы то ни было жертвы — ни денежные расчеты, ни противоречие естественных склонностей тому, что требуют от него его убеждения, ни даже уверенность, что от этого может пострадать его честь, ни даже то, что через это разрушится его спокойствие или что для этого нужно будет пожертвовать какой-нибудь дорогой для него привязанностью, не могли заставить его не сделать то, что он, по его мнению, должен был сделать, или сделать не так, как должно было сделать.

Вообще в Андрее Константиновиче было некоторое сходство в характере с куперовским Патфайндером, хотя во всем, кроме главной черты, они расходились совершенно. Андрей Константинович был человек с любовью к лежачей, спокойной жизни, и если б можно было, он по целым годам не сделал бы ни шагу, не пошевелился бы, не встал бы с своего дивана, на котором лежал все время, когда было можно; он был ужасный сладноежка и неженка, и самое сладкое препровождение времени было для него — лежать читать книгу и в то же самое время медленно, понемногу, микроскопическими приемами есть варенье в сахаре плоды; варенье он тоже очень любил, но оно представляло для него то неудобство, что требовало слишком много хлопот для того, чтоб есть лежа и не замазаться.

Это-то особенно и привлекало меня к нему: я смотрел на него почти с благоговением, потому что сам всегда чрезвычайно высоко ценил это качество и старался изо всех сил развить его в себе. Андрей Константинович был для меня в этом отношении идеалом, который в одно время и возбуждал во мне какое-то гордое наслаждение и подстрекал меня все к новым усилиям: вот до чего может достигнуть человек! «Что возможно одному, конечно, может быть доступно и другому», — думал я и старался приблизиться к той высоте, на которой стоял он и в то же самое время [ощущал] какую-то грустную безнадежность, что никогда не удастся мне сравняться с ним.

Нужно сказать для полноты и о внешнем положении Андрея

Константиновича в свете. Он имел довольно хорошее состояние: он еще в молодости получил в наследство два дома в Петербурге, один от отца, другой от тетки, вместе они могли приносить ему тысяч 15 дохода. Но как скоро он достиг совершеннолетия, ему показалось слишком хлопотливо возиться с этими домами: нужно поправлять, нужно иметь дело с жильцами и т. д. Главное дело в жизни, по его понятию, — спокойствие, и он решил избавиться от хлопот с этой стороны: продать дома и деньги положить в ломбард, хотя не мог не знать, что от этого доходы его должны уменьшиться во всяком случае четвертою долею. И тотчас же занялся он продажей. Продал оба дома без большой невыгоды, хотя, если б имел он другой характер, не выставлял сам вперед всех неудобств перед покупателями, какие, по его мнению, были в его домах (отчасти из своей любви к правде, а отчасти, как он говорил, также и из того, чтоб избавиться от долгого и несносного для него перечисления их недостатков самими покупателями), если б не выказал тотчас же своего желания как можно скорее отвязаться от них, и главное, если б не было слишком тяжело для него искусным образом торговаться, можно было продать их гораздо выгоднее.

Он положил деньги в ломбард и теперь имел почти 3 000 рублей серебром годовых процентов со своего капитала, хотя, конечно, он мог бы приносить гораздо больше, если бы Андрей Константинович решился употребить его на участие в каком-нибудь промышленном предприятии, или по крайней мере взять на них акций тех обществ, которые дают больше дивиденда. Но все это было ему слишком неверно, слишком беспокойно. «Знаете, уж теперь лучше: я знаю, что получаю 3 000 рублей, и эти 3 000 у меня так же верны, как будто жалованье, а с всяким обществом еще бог знает что может быть; можно выбрать и такое, что, конечно, никогда с ним ничего не будет, кроме хорошего. Да ведь ручаться нельзя и станешь беспокоиться, да и, кроме того, вот [что] дурно: нынешний год получишь 5 000, а в следующий, пожалуй, не получить и 4 000 дивиденда, а теперь я знаю, что у меня 75 000 руб. сер., ни грошом меньше, а на этот счет я тоже спокоен: понадобится тронуть капитал, так уж я знаю, на это можно рассчитывать и сколько мне останется, а цена акции вещь неверная. Что пользы, что у иных обществ они и поднимаются постоянно? Да кто поручится, что с завтрашнего же дня не начнут они падать в цене? Ведь на что, кажется, хороши дела Первого страхового общества, а его акции теперь падают же в цене. Возьми я их, положим, за пять лет по их тогдашней цене — и вышло бы, что вместо 75 у меня теперь было бы тысяч 60, если перевести акции на монету, и я был бы связан навеки с этим обществом, лишился бы своей свободы, которая может мне всегда понадобиться, или потерял пятую часть своего имущества. Не люблю я вообще лотерей: что мне, что я могу выиграть вдесятеро, когда тут же могу и потерять в половину, да и сам выигрыш неприятным образом волнует человека, если он случаен, неверен. А уж о промышленных

предприятиях с моим характером нечего и говорить. Это мне нож вострый, с ними мне и жизнь была бы не в жизнь».

Лет пять или шесть в молодости он служил, но покинул службу, как скоро позволила ему сделать это смерть матери, которой хотелось, чтоб он дослуживался чинов: «Ну, конечно, — отзывался он об этом, — для меня было неприятно служить, да уж не слишком же неприятно: мне удалось пристроиться к такому месту, где ни неприятностей, ни ответственности не могло быть, а служба считалась благородной, потому что требовала ума в человеке. Дела тоже было немного, и главное — можно было не всегда пойти, а уж для матушки слишком много приносило это удовольствия. Она только одного этого и требовала от меня такого, чего я сам не желал, — в остальном мы с ней сходились, так как же мне было отказать ей в единственном ее желании?»

Когда я познакомился с ним покороче — это было лет 5 тому назад, — ему было под 45. Жена его — звали ее Марья Владимировна, урожденная Ясенева — была прекрасная женщина, тогда ей было лет под 40 и они жили душа в душу. У них было двое сыновей и одна дочь. Старший сын был студентом во втором или третьем курсе в университете, дочь была почти невеста, младшему сыну было лет 15 или 16. Все семейство было одно из лучших, какие только я знавал, и богу было угодно, чтобы оно было также и одним из самых счастливых. Мне было тогда лет 25, но, несмотря на неравенство наших лет, скоро мы очень сблизились с ними со всеми. Андрей Константинович чрезвычайно сильно на меня подействовал, и я очень старался сблизиться с ним. Он не мог не заметить моей привязанности к нему и отвечал мне на нее тем же. Это было для него тем легче, что наши понятия весьма о многом сходились, хотя, казалось, разница в 20 годах времени и должна была бы в этом отношении всего скорее дать себя почувствовать: как все переменялось с тех пор, как он образовывался, к тому времени, когда образовывался я! Что казалось тогда парадоксом, теперь стало считаться между порядочными людьми истиной, на которой основано благо человечества; те люди, которых тогда считали слишком пылкими нововводителями в науке и литературе, теперь даже уж перестали быть главами движения, которое опередило их: новое поколение считало их отцами своими в умственном отношении, но уж не повторяло их, а только основывало на их трудах свои труды, самостоятельные, совершенно новые, о которых они и думать смели только еще не вполне, многие из этих великих людей теперь пережили свое время, стали к новому поколению сами в то же отношение, в котором стояли раньше к людям наполеоновского поколения, и недоставало у них уж сил и воли понять, что новое поколение, отвергая подробности их трудов, положительные выводы, ими сделанные, как неполные, недоведенные до конца, продолжает развивать их дух, что это они живут новою жизнью в своих преемниках, и они начали защищать букву созданного ими, бороться против духа некогда так мощно говорившего их устами.

Нередко новое поколение отвечало на их нападения нападениями такими же резкими, на их укоризны — укоризнами такими же горькими, на обвинения в желании все разрушить для своекорыстных целей или по мелким самолюбивым побуждениям — обвинениями в ренегатстве по тем же личным своекорыстным побуждениям или из слепого самолюбия, в глубине которого лежит зависть, хоть бессознательная. Но чаще оно, признавая их заслуги, в самой борьбе уважало их, говорило с ними почтительно, хоть и решительно, но во всяком случае оно шло, шло вперед своим путем; они сами шли, хотя против воли, хотя только наполовину, увлекались движением, против которого протестовали, или подвергались его влиянию отрицательно, отступая под гнетом назад в своих идеях к тем понятиям, которые были некогда ими самими разрушены. Во всем явились новые школы, везде высказывались новые вопросы, вопросы, которые в [18]25-х годах если и высказывались, то никто не обращал на них внимания, кроме немногих, которых тотчас провозглашали еретиками или людьми без вкуса в искусстве, без рас­судка в науке. Но Андрей Константинович был так счастлив, что тогда уже принял к душе сущность, а не внешнюю форму трудов путеводителей тогдашнего мира, понял, что труды их решали те вопросы, которыми занимались они; что идеи, которые развивали они, уже окончательно приобретены ими для науки, так что разработка этих вопросов и определение этих идей уже кончены, что будущность разовьет на основании решенных ими вопросов новые вопросы, из развитых ими идей разовьет новые идеи. И он всею душою слился с этим новым, рождающимся еще миром, уверовал в эти смутные, еще новые идеи и старался развить их, проникнуть в дух их, а не тот фантастический вид, в котором тогда выражались они, хоть и этот вид привлекал его; принял к душе эти новые вопросы, не веря в дававшееся тогда решение их, а веря, что впереди еще это решение, и благо человечества при жизни выступавшего тогда на поприще деятельности поколения, как в решении тех вопросов, которое находил он в творениях и делах действовавшего тогда поколения — назначение, необходимость того поколения: сам он тогда еще принадлежал будущему, и, изучая и любя настоящее, еще более симпатизировал будущему; вот почему он был сам современным человеком по своим понятиям, и мы сходились во взглядах почти на все то, что теперь занимает мир. Эта симпатия много помогала нашему сближению, делала его приятным и легким для нас обоих. Но если б Андрею Константиновичу и не было приятно сближаться со мною, ему было бы это нужно, потому что я был учителем его младшего сына: при своих понятиях он никогда не мог поручить его человеку, всю нравственную жизнь которого не знал бы он вполне.

Месяца через три после начала серьезного знакомства мы были уже так коротки, что я во всем с ним советовался, как советовался бы с отцом, а он заботился обо мне, как о сыне. Я давал три урока в неделю его сыну, я тогда служил в департаменте, следова-

тельно утро было у меня все занято, и потому уроки бывали вечером, перед чаем. Скоро после начала их я получил от Марьи Владимировны приглашение обедать у них в те дни, в которые бывали уроки; сначала я церемонился, потом скоро перестал, видя их искренность, и через два месяца я всегда уже в эти дни обедал у них, потом оставался на весь вечер. После обеда мы с полчаса сидели все вместе и толковали о городских или больше о литературных новостях, о театре; потом мы садились с младшим сыном за урок, который продолжался часа два или более до самого чаю. Чай пили очень долго, после снова три-четыре-пять часов до половины двенадцатого или двенадцати, а иногда и дольше сидели вместе. Обыкновенно тут бывало все семейство: и Андрей Константинович, и его жена, и все трое детей. Андрей Константинович, правда, иногда выезжал из дома по делам, а иногда жена его и дети выезжали в театр или в гости, и мы оставались с Андреем Константиновичем одни или вдвоем с его старшим сыном. Тогда мне бывали еще более обыкновенного приятны эти вечера, потому что мы могли свободно толковать с Андреем Константиновичем о вещах, интересовавших нас. Два-три раза в месяц в эти вечера бывали и у них знакомые. После чаю разговор принимал более серьезное направление, часто мы читали, но еще чаще говорили: Андрей Константинович любил книги, которые интересовали его, читать лучше один про себя, лежа на мягком диване в своем прекрасном кабинете и увеличивая для себя удовольствие от чтения медленным едением чего-нибудь сладкого.

Месяца через четыре после начала нашего короткого знакомства, — кажется, в начале октября, а может быть, и в конце сентября, — жена и все трое детей Андрея Константиновича уехали в итальянскую оперу. Там давали во второй раз не помню что-то очень хорошее, может быть, «Норму», если только «Норму» давали в тот год. Я мало бывал в итальянской опере и перезабыл ее историю. На первый раз им не удалось достать билетов, на второй им удалось достать ложу, но только через знакомых и пополам с ними, места для нас с Андреем Константиновичем уже не достало бы, кресла были почти все разобраны, да он и не охотник был бывать в театре иначе, как сидя в ложе вместе с семейством, а у меня в то время было мало денег, так что я поэкономничал, и мы остались вдвоем с Андреем Константиновичем на весь вечер. У меня было тогда интересное для меня дело: представлялся случай получить новое место, гораздо лучше прежнего. Поэтому мы стали говорить о моем деле, о том, как и через кого можно действовать, о том, почему это место важно: и потому, и потому, и наконец потему, что оно придется мне более по характеру — оно было место учителя истории в одной из здешних гимназий, а теперь пока я служил чиновником в министерстве финансов. От этого, конечно, перешли к разбору моих склонностей, моего характера, потом заговорили о характерах людских, вообще о человеческом сердце и человеческой жизни, и тут само собою дошло дело до того, что я сказал:

— Признаюсь, — да, правда, что признаваться в этом, вы уже много раз от меня слышали, — что ничего я так не ценю высоко в человеке, как то, если он действует и живет так, как велят ему действовать и жить его понятия и обязанности человека, в его личном положении, живет и действует согласно со своими убеждениями — да, впрочем, ведь это ясно и без оговорок; да и то нужно сказать: я не знаю, едва ли могут быть неблагородные убеждения, и я не могу себе представить неблагородных убеждений. В том-то и есть подлость, низость, ложь, короче, все, что вам угодно дурное, что мы знаем, что следует сказать так, а говорим иначе; знаем, что должно действовать так, а действуем иначе. И вот за это-то я так привязан к вам, так уважаю вас, Андрей Константинович: скромничать мы между собою давно перестали, так я прямо говорю вам, как уж, впрочем, и говорил: я просто благоговею за это перед вами, вы почти выше [всех] людей в моих глазах: у вас убеждения и жизнь, правила и поступки решительно всегда слиты, никогда вы не то, чтоб поступили не так, как по вашему убеждению вы или вообще человек при данном характере и положении должен поступить, нет, мало того, никогда вы не позволите себе поступить не до конца, не во всех подробностях так, как должно поступить по вашим убеждениям. Вы знаете, что я стремлюсь к тому же: но ваше совершенство просто повергает меня в отчаяние, хотя практически ваш пример, ваше влияние доставляют мне неизмеримую пользу.

Наш предшествующий разговор был очень жив, поэтому естественно, что, разгорячась, я продолжал в этом роде, удивлялся совершенному слиянию жизни и убеждений в Андрее Константиновиче, да, впрочем, я и не думал удерживаться. Андрей Константинович хорошо знал, что я, если принужден обстоятельствами, говоря о человеке в глаза ему, не говорю ему правды, так уж лучше вывернусь, как сумею, а льстить не стану никогда; знал также и то, что вообще я люблю хвалить в глаза людей, когда хвалю их в душе, да и тон, которым я говорил похвалы эти в этих случаях, бывает так холоден, вял, несмотря на живость и горячность мысли, и вместе так искренен, что если сколько-нибудь человек, которого я хвалю в глаза, одарен таким угадывать истину, так не может не быть убежден, что я говорю совершенно не для того, чтобы льстить, а потому, что мне приятно отдать справедливость человеку, которого люблю, и я уверен, что всякому знать себя со всех сторон — и с хороших, и с худых — полезно: если я оказываю человеку услугу, высказывая ему в настоящем виде его недостатки, так разве не все равно я окажу ему услугу, представляя ему в настоящем виде и хорошие его стороны? Если я имею право говорить ему в глаза горькую истину, так как же не имею я права говорить приятную? Разве мы имеем меньше права доставлять человеку удовольствие, чем печалить его, если польза, которую получает он вместе с удовольствием, не менее?

Так довольно долго лилась моя восгорженно-ледяная, будто холодное шампанское, речь. Андрей Константинович слушал с улыбкою.

— Вы мой идеал, во всем я стараюсь подражать вам, вы имели и, верно, до гроба будете иметь на меня в этом отношении неизмеримое влияние, — заключил я, остановив неудержимость потока не для того, чтоб перестать, а чтоб перевести дух.

— Хорошо же, — сказал Андрей Константинович, воспользовавшись перерывом неудержимого потока слов: — если я ваш идеал, если вы, как говорите, стараетесь во всем подражать мне, в чем я и не сомневаюсь, но только в одном вы ошибаетесь, потому что по-настоящему вы вовсе не подражаете, а следуете просто внушениям своего характера, который, конечно, в вас уж не подражание мне хоть по той одной причине, что вы имели его целых двадцать пять лет, прежде чем познакомились со мною, — итак, если я ваш идеал и имею на вас влияние, так не худо вам как можно лучше узнать меня. Ведь чем ближе к истине, тем всегда лучше: заблуждение всегда ведет ко вреду, хотя бы, повидимому, приносило нам пользу; в этом мы с вами убеждены, хотя бывают случаи, для других сомнительные. Вот, например, хоть этот случай: я представляю вам в более совершенном виде, чем на самом деле, — оно и кажется, что тем лучше: лучше ваш идеал, к лучшему следовательно вы стремитесь, и тем лучше для вас; — а на деле выходит не так; представлять себе вещь лучшею, чем она есть, значит представлять себе в ложном виде; а если идеал ложен, то и стремление ваше к нему будет стремлением к ложному, усилия ваши будут направлены к тому, чтоб придать себе ложный, неестественный вид; человек стремится к чему-то неестественному, следовательно, пагубному для человека, невозможному для человека, — и человек портится, искажается; начало-то, кажется, хорошо, а конец выходит как нельзя хуже. Поэтому, я думаю, нужно поглубже дать взглянуть вам в мой характер, чтобы вы как можно меньше ошибались во мне, главным образом насчет предполагаемой гармонии между моими убеждениями и жизнью, а потом и насчет всего остального, что есть во мне и хорошего, и дурного. Мне кажется, что это нужно для вас и полезно. Вы то же думаете? Нечего и спрашивать, этот вопрос одинаково, конечно, представляется нам. Итак, без церемонии я рассказываю вам несколько случаев моей жизни, в которых, как мне кажется, должен был более обнаружиться мой истинный характер. Оно, конечно, лучше было бы вам самому видеть меня на деле, а потом, если угодно, спрашивать еще у меня комментарий к моим поступкам, — да как быть, ничего важного не представляется покуда и, может быть, еще долго и не представится, а если представится, так то, что вы будете знать из моих рассказов о нескольких эпизодах моей жизни, не помешает вам наблюдать меня самому, когда будет можно, а, напротив, это будет даже лучше, потому что ведь, как признано теперь, без знания истории нельзя понять настоящего, и вообще чем

больше фактов знаешь о человеке или о чем бы то ни было, тем вернее можно судить. Не спрашиваю вас, интересно ли будет для вас слушать меня, — я уверен, что интересно, если случаи, которые я стану рассказывать, будут сколько-нибудь не лишены содержания. А скромничать неуместно, потому что ваша польза требует от меня откровенности. А главное то, что всякому приятно потолковать о себе; о, я сильно подвержен этому греху: обыкновенно удерживает от бесконечных рассказов о себе человека только мысль, что это вредно или скучно для других, что это неприлично, а сюда эти соображения не идут, и я начинаю.

О чем бы вам рассказать прежде всего? Ну, да что и говорить, — конечно, о женитбе, тем более, что ведь вы собираетесь жениться, то есть не сватались еще и в виду у вас никого нет еще, а жаждете всею душою случая жениться и очень много думаете об этом. Собственно, я гораздо меньше буду говорить о времени, предшествовавшем нашей свадьбе, чем о первом времени нашей супружеской жизни, потому что, что касается до моей жизни, особенно если смотреть на дело с той точки зрения, какую теперь мы имеем в виду — гармонии жизни и убеждений, так настоящая занимательность и важность моего любовного романа и начинается после свадьбы.

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

Отношения Андрея Константиновича к Марье Владимировне до смерти ее отца

Познакомились мы с моею будущей женою очень просто: они бывали часто в одном доме, в котором стал бывать и я, познакомившись по делам с отцом семейства. Она не произвела на меня большого впечатления или, чтоб не подать вам повода к сомнению, лучше сказать, не произвела совершенно никакого впечатления.¹ Тогда у нее были живы отец и мать. Отец служил столоначальником в одном департаменте министерства внутренних дел; у нее был брат моложе ее; кроме того, отец должен был посылать деньги на содержание своим двум старшим сестрам-вдовам и матери, которые жили в Рязани, своем родном городе, и не решались его оставить. Семейство, видите, порядочное, а жили они одним жалованьем, кроме жалованья, неоткуда было получить им ни гроша, и поэтому можете легко поверить, что они едва сводили концы с концами, и от жалованья не оставалось ни копейки. Отец был человек очень хороший, довольно умный, но главное — очень добрый; случай свел его близко с Сперанским (он служил у него долго чем-то вроде письмоводителя), еще кое с кем из замечательных людей, но воспользоваться он не сумел, выгод, как ви-

¹ Зачеркнуто: Она меня не скажу чтоб чрезвычайно много занимала тогда, но все в ней мне нравилось, одним словом, она приходилась очень хорошо по моему характеру и по душе; мы довольно часто и довольно много говорили, так что я порядочно знал ее. — *Ред.*

дите, было ему от этого сближения мало, денег тоже не успел он собрать, потому что не умел просить за себя, отчасти и потому, что особенно удобных случаев для этого не было; у Сперанского был он не в таком положении, чтоб мог пользоваться какими-нибудь выгодами оттого, через руки его проходили довольно важные дела, а главное потому, что вовсе не такого характера был он, чтоб мог из какого бы то ни было места получать какую бы то ни было выгоду, кроме жалованья: слишком совестливый был человек, да и слишком гордый, чтоб унизиться в своих глазах: «взять с кого-нибудь хотя бы за самую невинную услугу значит сделаться его лакеем», говорил он иногда. Но зато он очень много знал о тогдашнем времени, о действовавших в первую половину царствования Александра Павловича лицах, которых всех часто он видел, служа у Сперанского, а из разговоров знал он много и о людях и веке Екатерины; рассказывать был он охотник, да и мастер хоть не бог знает какой, а все-таки можно было слушать его с удовольствием; потому я, получивши раз приглашение бывать у них, с охотой воспользовался им и скоро как нельзя лучше сошелся со стариком. А он мною дорожил; кроме того, что ему приятно было найти слушателя, который живо интересовался его рассказами, который сам всегда начинал расспрашивать его о вещах, о которых он любил порассказать, еще сын его Миша учился в одной из здешних гимназий, не помню хорошенько, в какой: если тогда существовала 3-я гимназия, так, должно быть, в ней, потому что жили они подле Самсониевского моста, чтоб было поближе к Департаменту, — а я был хорошо знаком со всеми учителями, и с некоторыми был и задушевный приятель еще по университету или по гимназии; старик очень любил детей и всеми силами заботился о том, чтоб из сына вышел образованный, порядочный человек, так ему поэтому и хорошо было, что я просил учителей побольше обращать внимания на моего молодого приятеля, — да и сам я иногда занимался с ним. Ну, кроме этого, конечно, бродили у них мысли и о том, что я мог быть женихом Марьи Владимировны: ведь разумеется, если есть в доме невеста и этот дом часто посещает молодой человек, который годится ей в женихи, так уж само собой родится мысль о том, что, верно, ему нравится девушка и что он подумывает о том, как бы лучше узнать ее, а после сделать предложение. Что касается до меня, я бывал у них не собственно для Марьи Владимировны, а потому, что все вообще семейство мне нравилось — такое доброе, прекрасное, тихое, а я был всегда любителем тихой семейной жизни, и как нарочно тогда оставался я в Петербурге один, потому что матушка уезжала за Москву к своей сестре, тульской помещице, которую она очень любила: поехала было она на несколько недель погостить, а тут случилось несчастье: с сестрой сделался паралич; матушка не решалась покинуть ее в таком положении, и как ни тосковали мы с нею друг о друге, однако она там прожила больше года, пока сестра совсем не поправилась; так мне тем более было приятно бывать у них,

что я оставался в это время один, привыкши до того времени жить вместе с матушкой: хотя не свой я был в их семействе, а все-таки и не совсем чужой. Чаще всего, собственно, бывал я затем, чтоб послушать рассказов самого Владимира Петровича. Тогда меня они интересовали потому, что я несколько занимался новой русской историей: мне хотелось узнать, какую роль играла, собственно, во всеобщей истории Россия до этих пор. Я даже начал составлять что-то вроде мемуаров по слухам о царствовании Екатерины и Александра.

Раз я сидел с одним ним, вот как теперь мы с вами сидим; остальная семья была у всенощной, кроме старшего сына, который готовился в соседней комнате к завтрашним урокам. Он рассказывал один случай из жизни Сперанского; в этом рассказе играло большую роль одно лицо, одаренное, по [его] словам, чистым и очень сильным голосом. Когда приходилось говорить за него, Владимир Петрович старался усиливать свой голос, чтоб рассказ был живее. Он довел до места, когда это лицо, бывши у Сперанского, чтоб выпросить обманом какую-то не слишком значительную милость, выходит от Сперанского недовольное тем, что не удалось провести Михаила Михайловича и должно было остаться ни с чем, «Вот, ужасно раздосадованный, выходит он и кричит кучеру: «Эй, ты, леший, где ты? Спишь, что ли? Я был у чорта, да и ты, видно, к нему же провалился». Произнося эти слова, Владимир Петрович очень усилил голос. Вдруг у него вырвался на последнем слове какой-то глухой стон, он схватился за грудь, как-то болезненно согнулся и замолчал. Я вскочил в испуге. — «Что с вами? Что с вами?» — Несколько секунд я стоял, не зная, что мне с ним делать, и уж хотел скричать сына, чтоб спешил за доктором, а сам хотел, пока он [будет] одеваться, сбегать в трактир, который был в том же доме, за кипятком, чтоб до доктора прикладывать на грудь ему горячие салфетки да напоить его чаем, — как он стал выпрямляться и сказал не своим голосом: «теперь прошло, ничего не нужно, Мише не говорите, а только сделайте мне, пожалуйста, чаю». Я пошел за кипятком, и когда воротился с чаем, он сказал мне: «А уж я, было, так и думал, что пришел мой последний час, — да, славу богу, на этот раз еще ошибся: также биение сердца сделалось в груди, такая странная боль: не то чтоб очень резкая, а как будто переполнено оно чем и хочет лопнуть. Со мной это уж и раньше случилось, да не так сильно: должно быть, это со мной аневризма! скоро жила лопнет, — слишком уж сильно билось сердце. Не дай господи, как останется жена с детьми? Ведь просто без куска хлеба. Родственников никого нет таких, кто б захотел или мог помогать им, имения нет ничего, и вы знаете, а до пенсии еще два года остается; хоть бы два-то эти года дал бог еще пожить, чтоб хотя не нищими оставить их». Я дождался, пока воротились от всенощной; он просил меня ничего не говорить им, и я промолчал. Как воротились от всенощной, я простился.

Идя домой, я все думал о болезни и смерти Владимира Петро-

вича. Никого такого близкого к их семейству, как я, не было. Все упадет на меня, как он умрет, и хлопоты, и заботы о семействе, и обязанность не допустить их до отчаянного положения. Неприятною и тяжелою показалась мне эта перспектива: и доходами своими я тогда не мог свободно распорядиться, потому что они, собственно, приходили в матушкины руки, и мне нужно будет говорить об этом с нею, должно будет все рассказать и просить у нее согласия на такое употребление трети наших доходов в течение бог знает сколько времени, или как-нибудь скрывать от нее, куда они у меня выходят — и то, и другое трудно: с одной стороны, легко ли оно ей согласиться на мою просьбу; а что если и вовсе...¹

...Прошу покорно, сиди в смертной скуке и тоске и распространяйся в длинных и с невероятным трудом добываемых из головы речах, когда знаешь, что они глупы, холодны, бесполезны, хотя может быть, тот, к кому обращаются они, и не видит этого. А, наконец, хуже всего еще слышать прибавления: «Уж что бы мы, бедные, стали без вас делать, я и придумать не могу. Сам бог послал нам вас! Вы наш благодетель, спаситель, вознагради вас бог за то все, что вы для нас, сирот, делаете!» И т. д. Ну, это все равно, что тупым ножом резать.

Вот вам какие мысли толпились у меня в голове, пока я шел домой; ужасно быстро они достигли полного и всестороннего развития и через пять минут сочетания, разработанные и замкнутые в художественное целое, неподвижною тучею висели у меня над головой, которая вдруг, кончивши свое дело, развивши их до конца, впала в летаргическое бездействие. Ум мой страдательно погрузился в созерцание этих мыслей. Вы, верно, знаете это состояние: тут нельзя сказать, что думаешь, просто стоит колом в вашем мозгу мысль, и стоит, и стоит без всякой перемены, без всякого движения, будто мертвая, будто ум ваш оцепенел, — да, в самом деле, это настоящее оцепенение, все равно, как, знаете, отморозишь или слишком пересидишь ногу: даже и боли нет как будто, а слышно так в члене какое-то чувство смерти.

В этом расположении духа, самом дурном, самом мрачном, какое только можете вы вообразить, потихоньку, убитый, пришел я домой и машинально взялся за Макиавелли. Какого чорта? Это инстинкт заставил меня искать в нем совета, как бы ускользнуть от грозящего мне положения! Раскрываю, начинаю читать — плохо понимаю! Я тогда дурно знал по-итальянски, но в спокойном расположении духа понимал почти все, читал свободно книги, потому что соображал, сравнивал с латинским, французским, и дело шло довольно хорошо, мысли были все понятны, а если некоторые слова и обороты и оставались непонятны, так я не обращал на них большого внимания. Теперь я не мог соображать, плохо мог и вообще думать, всякое непонятное слово раздражало меня, выводило из терпения и делало еще менее способным понять остальные. В до-

¹ Далее не хватает 45 строк, судя по подсчетам на листках рукописи. — Ред.

саде бросил я итальянскую книгу и стал искать французский перевод, который был у меня; искал, искал с яростью, толкал, бросал книги — нет! Наконец, я вспомнил, что знакомый мой, учитель истории, брал его у меня, желая прочитать блистательную лекцию у себя в классе на манер университетских; обещался возвратить в понедельник, теперь была уже пятница, а книги все не было! Я озлился и на него, и на себя: и зачем, спрашивается, давал ему! Ведь должен же знать, что он человек в высшей степени неисправный, — и, верно, еще испачкал книгу, — да шутя¹ еще будет так деликатен, что купит новую и отдаст с извинением, что моя по несчастному случаю испортилась или пропала! Всегда я такой дурак: не должен был давать, а дал по своей слабости, по своей нерешительности, по своей глупости! И всегда так делаю! И всегда так буду делать!

С досадою толкнул я ногою валявшиеся кругом меня книги. Одна сильно ударила шкаф, и с верхней полки упала мне на голову, а потом на руки, раскрывшись, Яковсова греческая хрестоматия, — и как нарочно прямо в глаза бросилось мне: «Ксантиппа, жена Сократова, говорила, что всегда видит его выходящим из дому и возвращающимся домой с одним и тем же, всегда одинаковым выражением лица!» — Врешь ты, старая чертовка, либо твой муж был статуя или лицемер, да так и есть же, что непременно лицемер, актер! Вот же тебе за то, что еще в пример тебя ставят! — И я сильно черкнул ногтем по слову Сократ, так что вырвал клочок бумаги. Это меня как будто несколько успокоило: таки выместил свою досаду хотя на Сократе! И досада достигла уже высшей степени развития и теперь начала ослабевать. Я бросился на диван, — пола сюртука подвернулась, и прямо под бок мне попался большой ключ от других комнат, запертых на время отсутствия матушки, который носил я в заднем кармане. — «Чорт бы тебя взял!» подумал я в новом взрыве досады! но лезть за ним в карман для отыскания его было слишком долго и далеко, я просто повернулся на другой бок и ударил себя кулаком по ключу, то есть по боку, в который он уткнулся, и досада моя еще быстрее начала остывать после этой новой вспышки, да и внимание развлеклось несколько физической болью, потому что я ударил себя с размаху, а рука у меня была тяжелая.

Мысли мои пошли, утихая, назад тою же дорогою, которою раньше развивались: прежде всего завертелся у меня в голове Макиавелли, потом учитель истории, взявший его, потом Владимир Петрович и его семейство, — и вдруг из сочетания этих трех идей явилось истинно макиавеллиевская мысль: женить скотину учителя на Марье Владимировне! Тогда я буду совершенно вне всякой опасности и всяких хлопот! С восторгом я принял ее, и вместо сумрачного покровя, облекавшего все передо мною, все подернулось розовым цветом: «Молодец! Умник!» сказал я довольно громким,

¹ В смысле: пожалуй. — Ред.

прерывающимся от радости голосом и вставши быстро с дивана, и потом медленно, с комфортом улегся и принялся обдумывать план, как устроить это дело.

Учитель этот — звали его Николаем Федоровичем — был прекрасный, как говорят, молодой человек, хоть не бог знает каких достоинств; нельзя сказать, чтоб он был глуп, но большого ума в нем не было; особенно могла не нравиться его тяжеловатость и непроницательность во всем, где нужно было живое, быстрое соображение. Вообще он был человек довольно ограниченный, но трудолюбивый и поэтому довольно много думающий о себе, как о человеке, занимающемся своим предметом и довольно-таки его знающем. Естественно, нельзя было ему не ценить своего трудолюбия, потому что он трудился много; любил он и выказывать свое знание, очень любил. Было в нем несколько и мелочного самолюбия, но оно несколько не доводило его до смешного, а, напротив, он был человек порядочный. Только именно то и было в нем плохо, что не очень далекого ума был человек. Жених он был для всякой почти невесты нашего круга завидный. Нужно отдать ему честь: ему было всего 28 лет, а он был уже коллежский ассессор. Было у него и маленькое состояньице — душ 50 или 70 в одной дальней губернии; души эти, конечно, были заложены и перезаложены, но все-таки он получал с них 2 000 или 2 500 рублей (тогда еще считали на ассигнации), кроме этого дохода и жалованья, имел он довольно много хороших уроков, и если сложить все, так вышло, что получал он в год до 6 500 или до 7 000 рублей, — вот поэтому-то больше всего я и выбрал его в женихи Марье Владимировне, — ведь по-моему затем и нужно было прискаты ей жениха, что не ныне — завтра они останутся сиротами и без куска хлеба, и нужно будет кому-нибудь содержать их. Человек он был добрый, не кутящий, расчетливый, скромный; характера тоже хорошего, — только иногда любил поставить без всякой основательной причины на своем, и хотя бывал довольно уступчив, но если против кого что войдет ему в голову, а особенно если кто раздражит его хоть не слишком раздражительное самолюбие, то уж не житье с ним этому человеку.

С его стороны препятствий к предполагаемой мною свадьбе я не думал встретить, потому что о том, чтоб жениться, он уже подумывал, — а я имел на него довольно большое влияние, вкусу моему и проницательности он верил, и поэтому обратить его внимание на то, не посватать ли ему Марью Владимировну, и сделать так, чтоб она ему понравилась, казалось для меня не трудно; да и правду сказать, она стояла того, чтоб понравиться и не нам с Николаем Федоровичем. — Так хорошо, как теперь, я ее, конечно, тогда не знал, однако все-таки имел о ней высокое понятие. — Нужно передать вам, чтоб вы могли оценить, в какой степени нравственен и сообразен с моими убеждениями был план моих действий.

Марье Владимировне было тогда 17 лет. Наружность ее вам

не стану описывать, потому что вы сами, конечно, можете сообразить, какова собою она была, когда была молоденькою девушкою; тогда она была худощава, от этого казалась очень высокого роста, между тем как теперь этого не замечается; волосы у нее были не так темны, как теперь, светло-каштанового цвета, да и глаза были светлее, хотя все такие же карие. Что она была собою хороша, — я уж вам сказывал, хоть далеко не красавица, а просто, знаете, миленькое, свеженькое личико, каких много попадается, — одним словом, она в этом отношении не была исключительностью. Характер ее тоже вы знаете — в ней и теперь осталась любовь пошутить, посмеяться, а тогда, конечно, была еще больше, и я знал ее за порядочную насмешницу, хотя смеялась она большею частью про себя, чтоб не ронять перед другими человека (сердце у нее, сами вы знаете, кроткое, любящее).

Как видите, во всем этом еще нет ничего такого, почему можно было бы сказать, что Николай Федорович не стоит ее, — а он мужчина вовсе недурной наружности. Но дело в том, что я ее понимал тогда как одну из самых умных девушек, каких только встречал, как девушку с самою благородною, возвышенною душою. Да и образована была она лучше, чем обыкновенно бывают образованы дочери такого класса чиновников, как ее отец; знакомство было у них небольшое, свободного и, если угодно, скучного времени было поэтому много, и она употребляла его большею частью на образование себя. В какой-нибудь хороший пансион отдать ее не могли, хотя и хотели бы — денег недоставало на это; в школу ходить — отец решил, что бесполезно, потому что можно узнать все это дома; он сам почти кончил курс в гимназии (он вышел из 6-го класса), да и после читал не только что русские, а и французские книги, хоть говорить по-французски не умел, — и поэтому кое-чему мог ее выучить; мать умела сама довольно порядочно играть на фортепьяно и тоже могла учить ее — чего же больше? Об одном только жалел Владимир Петрович с женою, — что дочь не говорила по-французски, хоть читать по-французски книги выучилась свободно. Они и старались всеми силами скопить денег, чтоб нанять француза-учителя, но так-таки и не сумели собраться. Раз было уже набралось у них для этого рублей сто, но Марья Владимировна сделалась больна, и деньги вместо учителя вышли на лекарства и на доктора.

Когда Марье Владимировне было лет 13, она упросила отца записаться в русскую библиотеку для чтения, — отец согласился охотно, потому что и сам любил почитать, а книг в руки им попадалось мало, потом года через два, когда все порядочное в русской литературе да большая часть и серьезных русских сочинений по истории, физике, естественным наукам, путешествий и т. д. было прочитано Марьею Владимировною, она упросила отца записаться вместо русской во французскую библиотеку для чтения, а сама между тем выучилась по-немецки самоучкою по братниным книгам (брат был тогда уже в третьем классе гимназии), а потом,

когда узнала книжный язык хорошо, стала [бывать] почти каждый раз, как была служба, в немецкой церкви, чтоб привыкнуть к немецкому языку ухом. Когда стала хорошо понимать службу и проповеди, она упросила отца как можно поближе сойтись с двумя-тремя немцами, его сослуживцами по департаменту, семейными людьми; бывала часто у них, и слыша постоянно, как они говорят между собою в соседней комнате по-немецки, скоро она до такой степени привыкла к разговорному языку, что — хоть сначала с дурным произношением и очень медленно — стала сама говорить с ними по-немецки; а раз начавши говорить, она уже скоро стала говорить хорошо. Выучиться говорить по-английски не могло предстаться случая, и даже слышать английское произношение случилось ей всего три-четыре раза случайно, — но выучиться читать английские книги ей стоило уж очень немного труда и времени, когда она хорошо знала по-французски и по-немецки. За произношением она и не гналась, а как нельзя читать, не произнося как-нибудь в уме слова, то для этого она довольствовалась тем, что знала, как эти английские [слова] могут быть выражены по-французски и по-немецки; и читала английские слова так, как могли бы быть они написаны по-французски и по-немецки. По-английски удалось ей читать немного: несколько томов Вальтер-Скотта, три или четыре разрозненных тома Шекспира, который не показался ей особенно труден именно оттого, что по-английски она знала не так хорошо, и еще Гиббона или, кажется, Робертсона. То же самое было и с итальянским языком, только здесь ей было легче, чем в английском, выучиться произносить как должно: итальянское произношение просто, и она также случайно два-три раза слышала, как говорят по-итальянски, была почти довольна в этом отношении. Книг итальянских попадалось ей в руки, конечно, еще гораздо меньше, чем английских: брат купил ей на толкучке за двугривенный безобразного Данте, потом еще Сильвио Пеллико и еще две-три довольно пустые книжонки. Впрочем, по-английски и по-итальянски и училась она не затем, чтобы надеялась много читать на этих языках, а, собственно, затем, чтоб узнать самый язык и выучиться, потому что эти языки показались ей очень легки. Немецкую литературу она знала вовсе не так хорошо, как французскую, была принуждена довольствоваться теми книгами, которые могла доставать у своих знакомых немцев, взамен обильно снабжая французскими. Впрочем, ей удалось прочесть Гёте, Шиллера, Лессинга, благодаря немецкому прекрасному обычаю иметь у себя по крайней мере хоть Гёте и Шиллера, если уж состояние не позволяет иметь более обширную библиотеку. Меньше всего знала она новую немецкую литературу, потому что новые сочинения было трудно доставать, потому что новые сочинения были в Петербурге и тогда и теперь очень редки, гораздо реже старых, и ей было труднее найти их, особенно в том кругу, из которого брала она книги. Просить отца, чтоб он записался и в немецкую библиотеку для чтения, она не решалась — не потому, чтоб он мог отказать ей в этом, а потому,

что сам он по-немецки не знал и подписаться в немецкую библиотеку мог только, не возобновляя подписки во французскую, — платить деньги в обе разом было бы тяжело, — а для себя лишить отца удовольствия читать французские книги она не хотела.

Это я вам рассказываю зачем? чтоб поняли, сколько стремления к образованию себя, как много энергии, воли в достижении этой цели было у Марьи Владимировны. Большую часть того, что сейчас рассказал я вам, я знал уже и тогда, да все равно, хотя бы и не знал, я был совершенно уверен тогда, что Марья Владимировна одарена умом и сердцем не совсем обыкновенными. А между тем я не усомнился составить и еще хуже — упорно, расчетливо приводить в исполнение план соединить ее навек с человеком, который был гораздо ниже ее во всех отношениях, а заметьте, что и тогда, как теперь, одним из самых твердых моих убеждений было, что нет ничего несноснее положения женщины, как скоро она чувствует, что муж ее далеко ниже ее: разумеется, я говорю про женщин, каких мы обыкновенно встречаем — с природным влечением быть доброю, почти всегда покорною и подчиняющеюся мужу женою, а не о таких, которые в том находят радость, когда у них муж дурак и они держат его под башмаком, — есть и такие, которым это приятно, но ведь они исключения, и я был уверен, что Марья Владимировна не могла никаким образом принадлежать к числу их. Да и, кроме того, Николай Федорович был хоть человек смиренный, но с норовом, так что спокойно наслаждаться владычеством над ним было нельзя. Одно тут спасение для женщины: если она так ослеплена или уж от природы непроницательна, что не может рассмотреть ограниченности мужа. И этого не мог я ожидать от Марьи Владимировны, потому что уж знал ее резко проницательный взгляд на людей, знал даже, что ей скорее всего бросается в глаза их ограниченная, их смешная сторона, хотя по своей доброте она и не любит ни с кем говорить о ней. Так если рассудить, как должно, я поступал безнравственно и совершенно противно своим убеждениям, стараясь всеми силами женить на ней Николая Федоровича. Ведь я почти наверняка губил бы ее жизнь, если б мой план удался: вот вам и нравственность, вот вам и особенность убеждений с жизнью.

Оно конечно, если захотеть оправдать себя, так всегда много найдется оправданий, которые закрывают в некоторой степени безнравственность наших поступков и перед нами самими, а особенно перед другими, если они не смотрят на нас по личным отношениям неблагоприятными глазами или уж не расположены от природы видеть во всех поступках человеческих только дурное; но дело в том, что внутренний голос почти всегда отвергает эти оправдания: так, все это так, что вы говорите себе, а все-таки сердце у вас как-то беспокойно и на душе нерадостно.

В таких оправданиях у меня не было недостатка: во-первых, я старался и не думать о всем расстоянии между Марьей Владимировной и Николаем Федоровичем или насколько возможно

уменьшить его, ее старался поставить в своем мнении как можно более обыкновенною девушкою и всячески натягивал все хорошее о Николае Федоровиче, чтоб сказать: он тоже человек недюжинный; разумеется, более всего хлопот [имел] я с его умом; потом думал: как бы то ни было, это партия, выгоднее которой едва ли может она сделать и при жизни отца, — а если умрет отец, так нечего и говорить: итти в монастырь, если примут, единственное спасение для нее. Я даже делаю доброе дело, что принимаю на себя столько хлопот для устройства этого брака, — что ж делать, что я не могу найти человека, который был бы вполне достоин Марьи Владимировны? Николай Федорович во всяком случае самый лучший и умный из тех, кто может быть ее женихом, из всех молодых людей, которых я знаю сам, и тем более из тех немногих, которых встречаю у них, — все это была совершенная правда; да и где же взять человека, который бы вполне был ее достоин? Ведь такие люди не часто попадаются. Николай Федорович, по крайней мере, человек очень добрый, за характер его можно поручиться, за карьеру его тоже, да отчасти она уж и сделана; можно быть уверено, что он будет почитать свою тещу и любить братьев своей жены как родную мать и родных братьев, не оставит без поддержки, а часто ли можно встретить такого зятя? (Заметьте — когда нужно, я говорю: Марью Владимировну вовсе не нужно поднимать высоко, а когда нужно: нет равной ей на свете.) И первое условие жениха Марьи Владимировны, по моему мнению, должно было быть — чтоб у него было столько доходов, чтоб они могли безбедно содержать ее семейство, а такого жениха, кроме Николая Федоровича, слишком нужно поискать. Николай Федорович, одним словом, удовлетворяет всем необходимым условиям, и кроме него я не знаю никого, кто бы удовлетворял им. И должно сказать, что все это была совершенная правда, да правда-то эта была выбрана по нечистым побуждениям. А что касается до того, будто женщина как скоро чувствует, что муж ее не пара ей по уму, так и несчастна, — бог знает еще, верно ли это — едва ли это не вздор; хоть мне кажется, что не вздор, а правда, да ведь у меня голова такая горячая, мечтательная — все мои знакомые, которые знают мой образ мыслей о чем бы то ни было, зовут меня искренним образом фантазером и утопистом, да и мне самому часто кажутся странными мои мысли, хоть я и не могу отвязаться от них. Как же можно рисковать верным, положительным для каких-то бог знает верных ли еще, или неверных понятий, да и скорее, что неверных взглядов: еще бы другое дело, еще я имел бы право пренебрегать действительностью, его опасениями и спокойствием жизни, если б дело шло о мне самом, — а как же я могу произвольно распоряжаться на основании этих поэтических, этих фантастических понятий, на которые в подобных случаях никакой рассудительный человек и не обращает внимания, судьбою других? Разве благоразумие и долг честного человека не велят мне действовать так, как я действую? Кто на моем месте не стал бы действовать, как дей-

ствую я? Как же я могу требовать от себя, чтоб, когда дело идет о судьбе другого, я действовал произвольно по каким-то фантастическим бредням об идеальном счастье и несчастье? Это всегда так бывает, что когда тянет вас противоречить убеждению в действии, так усиливаешься всеми [доводами] доказывать себе, что оно не основательно, что оно не имеет настолько истинности, чтоб могло предъявлять права на управление нашими поступками и дать нам силу и право спокойно идти наперекор тому, что все считают более справедливым или за истину. Так и приходится ежеминутно повторять: «верую, господи, помози моему неверию»; доказывать себе, что все это более ничего, как бредни горячей головы, фантазии, утопии, мечты, которые не следует применять к своей жизни под опасением быть от них несчастным, а к чужой под страхом быть убийцею или причиною мелких несчастий, смотря по важности дела, в котором они прилагаются. Ведь, если рассудить хорошенько, как следует положительному человеку, так лучше даже сказать, что не Марья Владимировна стоила бы лучшего жениха, — чем нехорош Николай Федорович? — а Николай Федорович легко может найти себе более выгодную невесту.

А каково вам покажется нравственность моего плана относительно Николая Федоровича? Ведь я употреблял его как громозвон, чтобы свалить на его шею беду, которая угрожает мне и которой неизбежности и близости, конечно, уж никак не мог он предвидеть. Да, я хотел поймать его в бесчестную ловушку, мошеннически желая взвалить на него содержание семейства из четырех членов. Разумеется, в мой план не входило объяснять ему вероятность близкой смерти Владимира Петровича. Разумеется, и тут есть увертки — и самая главная та, что с чего, кажется, вообразил я себе, что Владимир Петрович должен скоро умереть? Решительно никаких оснований — вздумалось нам с ним бог знает с чего, что у него аневризма. Да разве мы медики? Мы ровно ничего не смыслим в этих делах; еще другое дело, если бы он был болен горячкою, тут всякий видит, что человек в самом деле болен горячкою, и до известной степени может судить о степени опасности. А то вздумали рассудить об аневризме! Он не советовался с доктором, — кто же ему сказал, что у него аневризма? А я и поверил! И тут мне представлялся забавный, успокоивший мои опасения за Владимира Петровича, хотя и тягостный случай со мною именно об аневризме:

Как теперь, так и тогда я любил есть сладкое, и от этого очень часто бывал у меня расстроен желудок. Раз — это было летом — уж недели две чувствовал я у себя в желудке некоторое расстройство, но все-таки не обращал на него большого внимания. Наконец, раз, очень хорошо, то есть больше чем следует, пообедавши, я пошел по одному делу к знакомому, жившему в нескольких шагах; идя оттуда мимо Милютинских лавок, я купил яблок, бергамотов и т. д., в довершение всего купил еще какого-то, — не помню уж какого — тяжелого для желудка лакомства. Пришедши домой, я наелся всего этого как нельзя более, и в желудке у меня стало

довольно тяжело, но я преспокойно сел писать; вдруг подступает к сердцу ужасная тяжесть, и не то что к сердцу, а как будто она в самом сердце; со мною уж и раньше бывало это три-четыре раза, так что даже изменялся и делался глухим, прерывался от этого голос на несколько минут, но то бывало все не в такой сильной степени, и я тогда не обращал на свои припадки никакого внимания и не думал приписывать их расстройству желудка, а скорее простуде; но теперь это был ужасно сильный припадок; собственно говоря, боли большой не было, но как будто в сердце, переполненное слишком кровью, еще кто-нибудь насосом накачивал из всех сил кровь: так и хотело лопнуть сердце и разрывало грудь! Я разогнулся как можно [больше], чтоб расширить грудь — на секунду [стало] как бы несколько полегче, но тотчас же с секунды на секунду все сильнее и сильнее наливает, как я думал, кровь в сердце. Я не мог усидеть, встал, прошел несколько шагов — нет силы терпеть! Я опустился на диван — нет, [не] лучше! Не хотелось тревожить маменьку, я думал, что пройдет, как в те разы, — нет! Боже мой, что со мною? «Аневризма!» мелькнуло у меня в голове, и вдруг явился передо мною в мыслях целый ряд припадков и случаев со мною в подтверждение моих мыслей. Боже мой, умереть и умереть вдруг, за пять минут до смерти не думая о смерти! Боже мой, хоть бы привести в порядок свои бумаги, сжечь некоторые, чтоб не оставить после себя навек памяти сумасброда! Наконец, я не мог выдержать, закричал, но страшным, глухим, задушенным голосом. В испуге прибежала маменька. «Что с тобою, что с тобою?» — «Ох, грудь! Ох, ох, дайте выпить что-нибудь. Смерть моя!» — К счастью, только что сняли со стола самовар, и мне тотчас подали крепкого пунша, которого я никогда не пил, а тут выпил три стакана чрезвычайно крепкого. Тотчас стали прикладывать горячие салфетки, — одним словом, началось лечение по той системе, какой хотел последовать я с Владимиром Петровичем, и мне стало как-то полегче, хоть все-таки было очень тяжело, так тяжело, что я все ждал смерти. Вдруг руки у меня задрожали, тяжесть у сердца еще как-то прибавилась и поднялась вверх, меня вырвало — и вот в тот же миг все прошло, хоть расстройство желудка осталось надолго¹. Я не мог не захохотать при этой развязке моего аневризма: напугал, было, маменьку, которая сочла мой смех судорожным. — Что, если такой же аневризм и с Владимиром Петровичем? Припадки те же самые, да и, само собою разумеется, точно так же нужно посоветовать ему осторожнее обращаться с своим желудком, если не хочет, чтоб эта аневризма повторялась почаще. И воспоминание об уморительном случае со мною даже придавало моим мыслям веселый характер, и я уверял себя, что Владимиру Петровичу столько же нужно опасаться смерти, как и мне и всякому другому здоровому человеку. Оно, видите, и это были совершенно основательные суждения, да

¹ Сравни описание подобного же припадка с самим Чернышевским (Дневник, запись 13. VII. 1849). — Ред.

только, если б я в душе был уверен в справедливости их и несомнительности наших общих опасений за Владимира Петровича, так уж при своем ленивом характере никогда бы не стал я навязывать себе на шею такие хлопоты, на какие решался приводя в исполнение свой план женитьбы Николая Федоровича на Марье Владимировне. Да и кроме лени одна уж важность такого дела, как брак, никогда не допустила бы меня принять на себя ответственность за него, быть сватом: самый лучший, повидимому, обещающий самую счастливую жизнь брак может обратиться бог знает в какое несчастье для того или другого супруга, а то и для обоих них: как же принимать на себя такую страшную ответственность? Никогда я ничего в мире так не боялся и не боюсь, как быть сватом, а я чувствовал, что этот брак не обещает слишком светлой жизни для Марьи Владимировны, слишком много неприятностей от возни с ее семейством для Николая Федоровича. Вот было первое успокоение для меня в моей как угодно низкой роли перед Николаем Федоровичем. Вторым успокоением было: во всяком случае никогда не найдет он себе такой жены, как Марья Владимировна! Такой умной, такой благородной, одаренной таким прекрасным характером жены! Или она должна составить счастье своего мужа, или уж нет на земле счастья человеку от человека! Что бы ни было, она, она с избытком вознаградит его за все.

Все, что я думал в похвалу Марье Владимировне, было совершенно справедливо, но дело в том, что такой добрый, но недалекий человек, как Николай Федорович, не мог оценить своего счастья: при его уме и характере слишком много было женщин, которые могли составить для него счастье, а высокие достоинства сердца Марьи Владимировны, конечно, должны были оставаться навсегда совершенно незаметными для него: не ему было понимать и ценить ее в том, что возвышает ее над другими женщинами, и ему ровно нисколько не прибавилось бы счастья от таких вещей, каких он и понять не был в состоянии — и превосходство ее ума скорее могло быть ему в тягость. Послушайте, я считаю излишним объясняться перед вами в том, что так свысока говорю о Николае Федоровиче и так вообще буду говорить о многих: мы говорим откровенно, и [я] представляю вам Николая Федоровича так, как представляется мне он. Ведь необходимо нужно для того, чтобы судить о моем собственном поведении, принимать в [расчет], что я понимал его ограниченность, понимал все расстояние от него до Марьи Владимировны, и эта сторона сообщала моим поступкам такой характер, какой они имели, — не понимай я этого, они приняли бы совершенно другой колорит относительно своей нравственности. Вообще я буду говорить о людях так же откровенно, как говорю о себе: если я кого называю ограниченным, это не значит, чтоб я считал себя человеком бог знает какого высокого ума; но что я понимаю, я не могу не понимать, как я понимаю, так и действую и, говоря о своих поступках, я не могу изобразить их в настоящем виде, не представляя людей, к которым относятся эти по-

ступки так, [как] я понимаю их. Теперь, когда вы совершенно можете судить о нравственности и сообразности с моими убеждениями моего плана и моих действий для осуществления его, я начинаю говорить о том, как я стал приводить его в исполнение.

На другой же день поехал я к Владимиру Петровичу; как мы собрались за чаем, я начал расспрашивать старшего сына, Мишу, который был в шестом классе, о гимназии, об учителях, об уроках. «Что у вас завтра?», сказал я наконец, зная и без того, что завтра есть урок истории. — «Латинский, закон божий, история и физика», отвечал он; «из закона божия повторение, и мало, из латинского нетрудный перевод, из физики тоже немного, почти только повторение, а из истории урок большой, о войне римлян с Филиппом Македонским и первых сношениях их с Грециею». Это было как нельзя лучше для меня. «Хотите, мы станем вместе приготовляться из истории», сказал я. — «Сделайте милость. Это для меня было бы скорее и легче, да я от вас и услышу много такого, чего в книге нет, да и Николай Федорович, верно, не скажет». — «Почему же? Ведь Николай Федорович любит поговорить в классе, я знаю». — «Любит, только все-таки мне хотелось бы слышать побольше, чем говорит он; иногда так любопытно было бы что-нибудь узнать поподробнее, а он как нарочно и пропустит это без всякого внимания; а иногда что-нибудь не понимаешь хорошо, нужно бы, чтоб кто-нибудь объяснил, как и отчего так могло быть или какое это имело значение, а объяснять некому, оно остается темным». — «Да разве вы не имеете привычки, если что-нибудь вам хочется знать или темно что-нибудь, спрашивать у Николая Федоровича?» — «Спрашиваю, да редко, потому что если знает он сам, об чем его спрашиваешь, так очень рад бывает рассказать, и ему приятно бывает, что его просят, а если не знает, так сердится. Мы и боимся, чтоб не рассердить его». — «Хорошо ж, — подумал я, — начало будет сделано завтра же». И после чая мы занялись уроком из истории. Я просидел с Мишею часа два, довольно подробно и как можно яснее представил ему политику и все действия Рима относительно Греции в то время: как, видя, что борьба со всеми греками, если б они захотели соединиться под [предводительством] и защищать дело Филиппа, которое, собственно, было делом их независимости, была бы трудна, а может быть, и безуспешна, сенат ловко соблазнил греков декламациями о том, что он хочет избавить их от ига Македона, возвратит им их древнюю свободу и славу; как греки поддались заманчивым обещаниям, победили для римлян Филиппа, истощили эту ревностную войною и свои силы; как ловко римляне поступали сначала в отношении их, — так бескорыстно, повидимому, что бедным грекам показались в самом деле спасителями и что в восторге думали они уже о возвращении времен Перикла; как потом продолжали сеять раздоры, ослабили одного, прибрали их всех себе в руки. Было уже половина десятого, когда мы оканчивали урок. «Так видите, — сказал я, — главное правило римской политики и здесь

и после всего было: *divide et impera*, разъединять и властвовать. Жаль, что уж поздно, а то стоило бы поговорить об этом правиле, которое всегда было главным правилом всех хитрых политиков; особенно страшным образом было прилагается в XV веке во Франции Екатериною Медичи. Да вы спросите об этом завтра Николая Федоровича: я знаю, что он это хорошо знает, так ему будет очень приятен ваш вопрос. Скажите: «объясните, сделайте милость, что это такое, что в одной книге, которую я читал, приготавливаясь к вашему классу, сказано: римляне в первый раз в войне с Филиппом и в делах Греции в первый раз высказали ясно свое знаменитое правило, которое потом так искусно развил Макиавелли: «*divide et impera*». — «Хорошо, я спрошу».

На другой день все было так, как я рассчитывал; Николай Федорович спросил урок у Миши, Миша отвечал превосходно, так что удивил Николая Федоровича, который слушал его с восхищением. «Прекрасно, прекрасно, верно вы особенно занимаетесь историей — и занимайтесь, это самая высокая, самая интересная, самая необходимая наука. Вам следовало бы поставить больше пяти, если бы можно было». — «Только позвольте спросить вас, Николай Федорович, — сказал Миша, — что такое значит макиавеллиевское «*divide et impera*», о котором я читал в одной книге», — и т. д. по моему наставлению. Лицо Николая Федоровича прояснилось еще более. Как нарочно на тот урок в классе, где учили новую историю, — дело шло об Александре Борджиа и макиавеллиевской политике, — пришел в класс директор и все время спрашивал урок, так что Николаю Федоровичу нельзя было сказать ни слова о Макиавелли, и труды его над моею книгою пропадали; только у него осталась еще надежда воспользоваться ими при истории войн католиков и гугенотов во Франции, поэтому-то он и не возвращал мне Макиавелли. И вдруг представлялся ему случай рассказать все это и рассказать притом так, что все-таки это не мешало рассказать ему то же самое еще раз и в том классе, для которого, собственно, он готовился. И он пустился рассказывать, так что, когда пробил звонок, он не кончил еще и половины того, что мог рассказать. — «Ну, я кончу в следующий раз. А вы продолжайте заниматься историей, г-н Яснев, продолжайте — она больше всех наук стоит того, чтоб заниматься ею: видите, как много в ней интересного». Николай Федорович был хорошим учителем и, главное, чрезвычайно ревностным учителем. Если вы не позабыли, что я говорил о его характере, вы должны видеть, что иначе и быть не могло при его трудолюбии, при его добросовестности и при его способности к довольству собою и, следовательно, тем, чем ему придется жить.

Я коротко знал Николая Федоровича; виделись мы с ним часто; когда виделись, говорили обыкновенно об истории; да я знал и то, какие книги он больше читал; много книг брал он у меня, поэтому я очень хорошо знал, какие эпохи истории и какие именно события или взгляды на них хорошо ему известны, и с этих пор

постоянно занимался с Мишею приготовлением к историческому классу и старался, чтоб он спрашивал Николая Федоровича всегда, когда только предмет урока был хорошо знаком Николаю Федоровичу; я успевал действовать так ловко, что вопросы Миши пробуждали в Николае Федоровиче даже новые мысли, которых он и не подозревал в себе, приводили его к новым взглядам, заставляли его ясно припоминать такие события, каких без того он не мог бы хорошо припомнить. Можете представить себе, что Миша, который и отвечал всегда превосходно, как решительно никто из учеников (Николай Федорович переспрашивал урок у всех учеников каждый класс), с тех пор как Николай Федорович был учителем, тотчас же сделался его любимцем, и когда через две недели после открытия моих маневров пришел в его класс директор, Николай Федорович осыпал перед ним всевозможными похвалами Мишу; директор спросил его урок — Миша отвечал превосходно; и директор сказал, что Миша — украшение их гимназии, что если он будет продолжать так заниматься, то получит непременно золотую медаль и обратит на себя внимание начальства, что он при первом удобном случае скажет о нем попечителю, а может быть, и самому министру, которые оба особенно любят историю.

Я знал все это от Миши и от Николая Федоровича, который знал, что я очень дружен с Ясеновыми. Как дошло до меня известие об этом посещении директора и о том, как хвалил он Мишу, я стал искать случая свести директора и Владимира Петровича, чтоб старик из уст самого высшего начальника услышал об успехах своего сына по истории и о том, как Николай Федорович любит его и занимается им. Директор бывал иногда по пятницам на карточных вечерах у одного из не слишком близких знакомых Владимира Петровича, начальника отделения в министерстве юстиции, и знал его в лицо; Владимир Петрович тоже бывал там дважды в год; теперь нужно было заставить его побывать там в следующий же раз. Я выкопал какую-то справку об одном деле по министерству юстиции, без которой очень можно было бы обойтись, и высказал Владимиру Петровичу свое недоумение, через кого справиться. Справка эта, сказал я, для меня очень нужна, и поскорее. Он тотчас же предложил мне побывать у своего знакомого. Я нарочно выбрал четверг, так что Владимир Петрович должен был отправиться просить его о справке в пятницу. «Очень скоро вам нужно это? — сказал он, — может быть, завтра же? Так уж нечего делать, я уйду из департамента». — «Нет, помилуйте, Владимир Петрович, как это можно, дело не так к спеху, почта еще во вторник, так если я получу нужные мне сведения в понедельник, и то будет очень хорошо, а лучше будет, если б можно было получить их в субботу, потому что в воскресенье можно было бы еще поговорить с одним человеком, которому хорошо известно это дело, что теперь нужно будет советовать делать тому, чье это дело». — Таким образом, из моих слов выходило, что Владимир Петрович должен будет быть у своего знакомого в пятницу ве-

чером. — «Ну, хорошо, — сказал он, — я буду у него завтра вечером, а вы зайдете в субботу часа в два к ним в департамент, и справка вам будет готова». — Очень мне нужна была справка!

Разумеется, как я рассчитывал, так все и сделалось. Директор, увидевши Владимира Петровича, поздравил его с тем, что сын его оказывает такие успехи в истории, и распространился о том, как учитель истории не может нахвалиться им. В восторге воротился Владимир Петрович домой и принялся со слезами радости целовать и расспрашивать сына. «А ты и молчишь, скромник, нет, чтоб самому порадовать отца! А уж как директор хвалил тебя! Учись, мой друг, учись, только через это и можно нынче выйти в люди». Миша в ответ начал, разумеется, хвалить учителя, от которого в самом деле был в восхищении, потому что Николай Федорович оказывал ему большое внимание и очень ласкал его. «Он меня, папенька, и рекомендовал директору, а то где б директору заметить меня; он даже и книги мне дает, какие у него есть, и уж со мною ласков так, ободряет меня: я никогда не забуду того, как много он для меня делает и заботится обо мне: ему да Андрею Константиновичу я всем обязан».

Тут были подробно разобраны и мои великие услуги Мише и другим детям Владимира Петровича, особенно было поставлено мне в высокую добродетель, что я дал Марье Владимировне 15—20 уроков французского разговорного языка, чего при ее знании французского было совершенно достаточно, чтоб [она] начала бегло и с хорошим произношением говорить по-французски, а потом, так как практики во французском было у нее довольно мало, то я постоянно говорил с нею по-французски. Пересчитав все одолжения, которые сделал я для них, снова принялись Владимир Петрович с Мишей за Николая Федоровича и восторгались друг перед другом.

На другой день, как будто ни в чем не виноватый, явился я. Тотчас происшествие на вчерашнем вечере было рассказано, и раздались похвалы и благодарения мне; я как можно поскорее постарался дать им нужное для меня направление. «Помилуйте, Владимир Петрович, что ж такого [я] в этом деле значу? По вашим же собственным словам видно, что если кого нужно здесь благодарить, так это Николая Федоровича, который так внимателен к Мишеньке. Он в самом деле уж несколько раз с чрезвычайною похвалою отзывался о нем и мне, особенно в этот вторник, будучи у меня, и я очень виноват перед вами: в четверг непременно хотел я порадовать вас такими отзывами о Мишеньке, да со своею справкою и позабыл об этом. (Правда, Николай Федорович несколько раз хвалил мне Мишеньку, но я вовсе не потому молчал об этих похвалах перед Владимиром Петровичем, что позабывал, а с тонким расчетом, чтоб вдруг этим директором как можно сильнее поразить врасплох неприготовленного и непредчувствующего своего счастья. Да и для того я молчал, чтоб на меня не падало никакой тени подозрения, чтоб никак не могло никогда притти в голову, что на-

стоящею причиною сближения Николая Федоровича с Ясеновыми был я.) Владимир Петрович пустился осыпать похвалами и благодарениями Николая Федоровича. Долго слушал я, наконец, сказал с улыбкою: «Вот порадовался бы он, если бы увидел, сколько сделал вам удовольствия! Ему весьма приятно всегда, когда он видит, что сделал кому-нибудь приятную или радостную вещь, и особенно когда видит, что эту услугу его ценят. Я зайду к нему — он живет здесь очень близко — и передам ему вашу благодарность, если вы, Владимир Петрович, позволите». — «Что вы, что вы? — закричал старик, как будто получив вдохновение свыше, — как это можно, я сам побываю у него! Хорошо, что вы сказали мне, что это будет ему приятно, а то, может быть, и в голову мне не пришло [бы], старому дураку, что нужно мне побывать у него. Где он живет, в чьем доме?» — Я сказал адрес Николая Федоровича. — «А когда его можно застать дома?» — «Нынче суббота, — сказал я, — в воскресенье, может быть, не совсем вам ловко будет быть у него, слишком церемонно». Я нарочно сказал это, зная, как приятна была бы такая церемонность или, если угодно, деликатность Николаю Федоровичу. — «Что вы, Андрей Константинович, он бог знает что делает для моего сына, а я стану рассчитывать, когда не церемонен, а когда слишком церемонен будет мой визит! Да тем лучше, что церемонный, ему, может быть, самому будет приятнее. Я завтра к нему непременно пойду в 11 часов — ведь он дома будет в 11?» — «Будет, — сказал я, — да я, если угодно, предупрежу его стороною». — «Ах, какой вы услужливый, Андрей Константинович, мне даже просто совестно перед вами». — «Помилюйте, Владимир Петрович, не вы ли сделали для меня вчера мне величайшее одолжение, принявши на себя труд похлопотать о справке в министерстве юстиции? вот я уж и получил ее, а то решительно не знал, что мне делать». — «Что вы так говорите, Андрей Константинович, самые мелочи, если они делаются для вас, вы цените бог знает как высоко, а что сами для других делаете, о том никогда не думаете!»

Я постарался поскорее проститься с Владимиром Петровичем под предлогом, что нужно ж застать дома Николая Федоровича, что у меня у самого есть к нему дело. Признаюсь, я и потому спешил уйти, что мне тягостно было слушать такие похвалы себе, между тем как я должен был краснеть, краснеть за себя. Я и действительно краснел несколько раз. Это было приписано моей скромности и еще больше обратилось опять-таки в мою пользу.

Я пошел прямо к Николаю Федоровичу. Он, к моему удовольствию, был дома. Начался разговор о том, о сем. Я склонил его на историю, на гимназию и вдруг сказал: «Да, я сейчас от Ясеновых — вот ты все хвалил мне Мишу Ясенева и говорил, что сказывал про него директору, — вообрази, теперь старик без ума от радости: вчера виделся на одном вечере с директором, и тот хвалил его сына за успехи по твоему предмету. Он теперь только и толкует что о том, как много они с сыном обязаны тебе, и непременно хочет лично благодарить тебя за твое внимание и любовь к Ясе-

неву. Он спрашивал меня уж, как твой адрес и будешь ли ты дома в 11 часов завтра. Я сказал, что не знаю; того и жди, что даже воскресенье не удержит его от визита к тебе завтра, — мне казалось, он сейчас готов был бежать к тебе». Николаю Федоровичу было в самом деле чрезвычайно приятно, что Владимир [Петрович] будет у него в воскресенье, — он не мог не остаться дома после этого. Действительно, Владимир Петрович не обманул его, даже превзошел его ожидания — явился к нему чуть не в мундире, как будто к самому министру народного просвещения, благодарил его так, что я благодарил бога, что меня тут не было, а то в продолжение этих благодарностей мог бы пять раз умереть от скуки, и, наконец, разумеется, просил Николаю Федоровича осчастливить его своим знакомством с таким жаром, что Николай Федорович совершенно растаял и явился к нему на другой же день с визитом; его пригласили на следующий день кушать, старик носил его на руках, усиленно просил его бывать у них запросто и чем чаще, тем лучше. Николай Федорович нашел, что бывать у них очень приятно — конечно, потому, что его самолюбие [было] ужасно [польщено], что с ним нянчились там, я тоже всеми силами старался сделать, чтоб он как можно чаще бывал у них и сблизился с ними, и скоро мой Николай Федорович стал бывать у них едва не каждый день.

Когда я бывал у них и он бывал у них при мне, я старался всегда устроить так, чтоб ему приходилось говорить с Марьей Владимировной; чрезвычайно много помогало мне то, что Николай Федорович любил музыку и умел довольно хорошо петь. Голос у него был в самом деле приятный — низкий баритон; Марья Владимировна тоже несколько пела, и я незаметно устроил так, что они довольно часто стали петь вместе. Чтоб не было недостатка в нотах, я решился даже подписаться в музыкальной библиотеке, и они только и делали, что разучивали новые дуэты и тому подобное. Марье Владимировне было вообще это приятно, потому что она очень любила пение и пела тем охотнее, что хоть пела не слишком искусно, но голос у нее был очень приятный, и она знала, что ее можно слушать с удовольствием; а я быть ее партнером не мог, потому что не имел голоса, — а то, может быть, и выучился бы петь, чтоб доставлять ей удовольствие, потому что ведь я сказал уже, что я чувствовал к ней некоторое расположение или — как вам это сказать, — что мне всегда приносило большое удовольствие делать для нее приятное; потому что голоса у меня не было, я и маленьким не выучился петь.

Таким образом Николай Федорович очень скоро был совершенно своим в семействе Ясневых. Все мои труды венчались до сих пор самым лучшим успехом, дело шло вперед быстро. Однако, частенько бывало мне тяжело или и совестно, когда, бывало, завяжется разговор между Марьей Владимировною и Николаем Федоровичем: так далеко она превосходила его умом и возвышенностью души! Слушаешь и краснеешь за него и за себя, сидя почти рядом, я погляжу на них да сравню их — и возьмет стыд и

раскаяние. При этих случаях бывали минуты, когда я решительно считал себя подлецом и негодяем и едва не решался сделать так, чтоб знакомство Николая Федоровича с Ясеновыми разошлось.

Вот я расскажу вам один из разговоров их с Марьей Владимировной, чтобы вы могли видеть, что в самом деле между ними была такая разница, что если справедливо мое убеждение о том, что женщина, которая чувствует, что муж ее ниже ее, должна быть несчастна, так доля Марьи Владимировны замужем за Николаем Федоровичем была бы не слишком весела.

— Читали ли вы, Марья Владимировна, новую поэму Пушкина «Кавказский пленник?»

— Да, мне удалось достать ее через Андрея Константиновича, и я читала ее с большим интересом: вообще я люблю Пушкина.

— Так она вам очень нравится?

— Этого нельзя сказать; видите, это почти просто переложение на русские нравы байроновских поэтов¹, то же самое, что расиновы и корнелевы трагедии, только наоборот: те французов одевали в одежду римлян, переносили с их тогдашними привычками, понятиями, взглядами на жизнь в Рим и думали, что, придав им римские имена, они сделали из них римлян и что все это очень хорошо. Но вы согласитесь, что нет ничего неестественнее их героев: римляне никогда не могли быть такими; они свое переносили в чужую страну, и от этого все становилось до того неестественным, ложным, что трагедии их от этого теряли всю цену. У Пушкина перенос байроновских героев, которые очень естественны являются в Англии или, если угодно, даже в Германии, во Франции, — в Россию, где до этих пор нет еще никакой возможности явиться им естественным образом, и из этого выходит такая неестественность, что поэмы его слишком много от этого теряют; и кроме того, по моему мнению, если б даже действие происходило и не на Кавказе, а где угодно в Западной Европе, все-таки герой, мне кажется, — просто нехорошо понятый сколок с байроновских героев: если те страдают, мы видим, отчего они страдают, и не можем не признаться, что не от пустяков; если они отвергают жизнь, презирают людей, мы все-таки знаем, почему это они делают — жизнь и люди не соответствуют их требованиям; а эти требования у них ясно сознаны, и нельзя не сознаться снова, что требования эти происходят из глубины их души, что они не могут отказать от них; что эти требования — не просто причуды вроде того: «Я не хочу и смотреть на поле, не только прогуливаться по нем, потому что оно зеленое, а я хотел бы, чтоб оно было шоколадного цвета». Напротив, и требования их определенные, ясно сознанные, а у героя поэмы Пушкина, мне кажется, нет никаких определенных требований, и если он проклинает жизнь и людей, мне кажется, что он делает это не потому, чтоб он в самом деле не мог примириться с ними, — напротив, мне кажется, что он никогда серь-

¹ Явная описка вместо героев. — *Ред*

езным образом и не ссорился с ними — а просто потому, что ему вздумалось пощеголять перед собой, да и перед другими, своими громкими фразами; мне кажется, что все это чисто фантастические причуды, приносящие ему много тайного удовольствия, и что он просто драпируется в страдание.

— Я не могу вам сказать, справедливо или [нет] то, что вы говорите, Марья Владимировна, — должно быть, и справедливо, только мне это не приходило в голову; мне тоже «Кавказский пленник» не нравится, но по другой причине, с которой вы, верно, тоже будете согласны, — мне кажется, что слог слишком небрежен, стих нисколько не обработан: Пушкин очень легко пишет стихи, и это заставляет его позабывать, что, как бы велики ни были природные красоты, которые сами собой выливаются из души автора, главное достоинство сочинения, а особенно стихотворного, все-таки отделка: отделка, отделка — вот первое и последнее, — без нее все остальное ничего не значит; а если отделка хороша, тогда, пожалуй, мы поговорим и о содержании. Возьмите, например, какую-нибудь вещьцу Дмитриева — кажется, пустячки, а вы читаете с наслаждением, потому что обработка стиха изумительна! Или самый лучший пример — «Душенька» Богдановича. Некоторые скажут, может: «да что ж он этим хотел сказать? Где тут содержание?» Я скажу: да, содержания тут и нет, он и не хотел вовсе ничего сказать своею поэмою — неужели вы ищите в поэтическом произведении ученых трактатов? если уж вам их хочется, так возьмите Пуффендорфа или Канта — там вы найдете вдоволь таких истин, таких вопросов, что поневоле и у болвана зашевелится что-нибудь в груди, если растолковать их; а «Душенька» именно оттого-то и приобретает новую цену, что в ней ничего, кажется, нет такого, что само по себе могло бы заинтересовать вас, — а вы все-таки читаете и читаете с восхищением: в этом-то и сказывается поэт, что о ничем сумел он говорить занимательно и мило. Впрочем, я не абсолютно восстаю против «Кавказского пленника»: уж одно то достоинство, что он писан размером, самым приличным и нашему языку, и эпической поэме — четырехстопными ямбами: это шаг вперед со стороны Пушкина, что он до сих пор все писал этим размером, — а то господа устарелые нововводители, как, например, Жуковский, с своими чрезвычайно многочисленными новыми размерами, только портят русский язык: за одно их можно благодарить, что они стараются вводить в русский язык гекзаметр, самый высший, самый благородный и величественный стих, освященный Вергилием, после того как привыкли к нему у Гомера; но они опять-таки несправедливы в том, что не употребляют там, где следует, александрийского стиха. Возьмите хоть «Орлеанскую Деву» Жуковского. Что это такое, спрашиваю я вас? В начале каждого монолога вы спотыкаетесь, потому что что ни новая сцена, то новый размер: как начинает говорить новое лицо, того и жди, что начнет говорить своим размером, так что никак не успеешь приладиться; да и в середине монолога часто бывает, что вдруг размер переменяется;

хуже этого уж ничего не может быть; это разрушает всякое единство, которое должно же необходимо существовать в речи одного лица; одним словом, «Орлеанская Дева» — настоящее Вавилонское смещение языков, только там, говорят, было 72 языка, а в ней, кажется, гораздо больше; вообще это новое, умноженное и ухудшенное издание Вавилонского столпотворения: я так ее и называю. Но если б Пушкин больше обращал внимания на отделку стиха, он мог бы быть великим поэтом; жаль, что нет, как видно, людей, которые могли бы указать ему настоящую дорогу к бессмертию; пусть возьмет себе за образец Дмитриева, Богдановича, Нелединского-Мелецкого и сравняется с ними, и всегда будет читать его с удовольствием, что [бы] он ни стал писать, хоть ни об чем; иначе я не предсказываю ему ничего хорошего. Посмотрите на Державина — ведь, конечно, это может показаться парадоксом, а я решительно говорю, что небрежение о стихе погубило Державина, отнимает почти у всех его пьес совершенно всякое достоинство; пусть им восхищаются, а я вам решительно скажу, что Богдановича и Дмитриева будут читать и через пятьсот лет, а в Державина никто не заглянет и через 25 лет, и именно по тому же самому, почему будут всегда читать Богдановича и Дмитриева — потому, что у него стих совершенно не обработан, тяжел, груб, у них — легок, мил, доведен до высшей степени обработки. А так как теперь вошло в моду говорить о содержании, так относительно этого я скажу, что вообще мне не нравится, что теперь круг действия переносят бог знает куда: в мещанские домишки, в круг мелкого дворянства — хоть мы и сами к нему принадлежим, да что ж, истина дороже всего — и т. д.; нет, по моему мнению, это нехорошо. Хоть, например, «Кавказский пленник» — что он, я уж и позабыл, что он: подпоручик или просто унтер-офицер: скажите, какой интерес может возбудить такой герой? Покажите мне полководца, так я поневоле заинтересуюсь: по моему мнению, во всякой поэме и трагедии, если они имеют притязание быть серьезными, единственное возможное место действия — двор, высший круг аристократии, палатка полководца; единственные возможные герои — цари, принцессы и графы: эпическая поэма, трагедия, драма должны описывать самые сильные и возвышенные страсти, представлять великие характеры, героев и злодеев, которые поражали бы нас своим величием, — а где вы найдете элементы для таких характеров вне высшего государственного круга? Согласитесь сами, что и наша жизнь, и все наши интересы, да и самые наши характеры, — хоть, конечно, и в нашем кругу и между нами можно найти людей относительно умных и энергичных, — не могут не быть чрезвычайно мелки, бесцветны перед интересами, характерами и страстями людей, распоряджающихся участью сотен тысяч людей. Как обширны должны быть у них планы! как неизмеримы их желания! какой величественный размер поэтому должны принять их характеры и их страсти! — Таково уж их положение. А у нас, как угодно, интересы так мелки в сравнении с теми интересами, что характеры и стра-

сти наши не могут не сжиматься в самые узкие, жалко смешные размеры, не могут не потерять всей своей энергии, не могут не растрачивать всех своих сил в копеечных делах; воля наша и страсти наши всюду стеснены и недостатками, и мелкими житейскими заботами, и даже частным приставом с его полицейскими предписаниями, и характеры наши, лишённые всякой возможности соприкасаться с великими интересами и страстями, не могут не сделаться совершенно бесцветными. Впрочем, снова повторяю, содержание еще ничто, главное — форма, форма; не хлопчите много о выборе сюжета — возьмите какой угодно или какой дадут вам, но обработывайте, отделявайте, и вы всегда достигнете своей цели — лаврового венка поэта и удивления современников и потомства.

— Вероятно оттого, что я не одарена вашим тонким вкусом, который оскорбляется всякой прихотливостью, всякой дисгармонией в форме, я не могу вполне согласиться с вами, Николай Федорович, — сказала Марья Владимировна с приятною улыбкою, с какою мы обыкновенно отвечаем человеку, когда нам жаль его ограниченности, инстинктивно стараясь прикрыть ею неравенство между нами и устраняя возможность подумать: «Вы так хорошо высказались, что после вашей речи я потерял всякую надежду толковать вам что-нибудь как следует, и если я поддерживаю разговор с вами, так единственно из деликатности, чтоб не дать вам первому заметить, что считаю вас неспособным по устройству вашего ума разделять мои мысли и поэтому не считаю полезным тратить времени на обращение вас». — Конечно, форма очень важная вещь, но содержание, мне кажется, всегда главное дело; форма, может, много придает ему цены или очень много отнимает ее у него, но сама она свое значение получает только от содержания, и если содержание ничтожно, форма никогда не может придать большого значения произведению, и я не думаю, чтоб через нее делались люди поэтами и тем менее бессмертными поэтами; я говорю о той форме, на которую вы обращаете существенное свое внимание при оценке поэтических произведений, которую сейчас делали вы, о внешней, материальной форме, об языке и размере: разумеется, при ваших общих мыслях о достоинстве формы вы имели в виду не внешнюю, а внутреннюю форму произведения — то, что мы называем слогом — эти подробности развития мысли, атомы, из которых состоит тело и от которых, конечно, совершенно зависят все его главные свойства, достоинства и недостатки, если это тело поэтическое создание, — а еще более того, если можно так сказать, крупные части тела, от которых зависит его внешний вид, то разнообразие характеров, образов, положений и мыслей, в которых развивалась ваша основная идея: эта внутренняя форма, я согласна, самая существенная и самая важная вещь в произведении, и тут можно почти сказать, как говорите вы, что она-то и придает всю цену произведению, хотя, впрочем, что касается до моего личного мнения, я и на это не согласна, а думаю, что все-таки идея в произведении главное и что, конечно, произведение по-

теряет почти все свое достоинство от дурного развития этой идеи, но все-таки самое лучшее исполнение, самые богатые положения и мысли, самым лучшим образом созданные характеры немного придадут значения произведению, если основная идея его не сообщает ему этого значения. Впрочем, эти вещи так между собой связаны, что их нельзя разделять и в общем теоретическом анализе элементов поэтического произведения, а в действительном, живом произведении они всегда совершенно сливаются воедино: характер, положение и основная идея — вы их не отличите друг от друга, и поэтому, в сущности, дело тут почти в одних словах. И наше разногласие с вами здесь, может быть, более видимое, чем существенное. Но в том, что чем ниже та ступень в обществе, которую занимают ваши герои, тем меньше могут возбудить они интереса и тем меньше достойны быть героями великого произведения, — с этим я не могу согласиться без некоторых оговорок. Вы, конечно, одностороннее высказали свою мысль, чем как она представлялась вашему уму, сказавши, будто важность известного лица в государственном устройстве общества — единственная мерка того интереса, который может оно возбудить в литературном произведении; даже если допустить ваше мнение во всей его строгости, нельзя будет сделать того вывода, какой делаете вы: ведь, кроме той важности, которую известное лицо имеет в глазах наших как отдельное лицо, оно — представитель того класса, к которому принадлежит в политическом или — как вам угодно назовем это — в социальном, в общественном отношении; а как же можно сказать, что классы, состоящие из лиц, немного значащих каждое само по себе, не важны? Скорее можно сказать напротив, — чем меньше значит отдельное лицо, тем больше значит тот класс, к которому принадлежит оно, потому что тем он многочисленнее: ведь общество давно уже сравнивают с быстро суживающейся пирамидой, чем ниже слой, тем больше в нем камней, и против того, что, например, хоть земледельческий класс, если начать уж с самого низа, имеет самое огромное значение для государства, хоть каждый в отдельности земледелец и ровно ничего не значит, против этого никто не будет спорить. Но у людей есть и другая сторона жизни, кроме жизни политической: кроме политических интересов, для всякого образованного человека существует много и других общечеловеческих интересов, и можно сказать, если угодно, что политические интересы интересны только потому, что от них много зависит вообще жизнь человека. Разве хоть жизнь Гутенберга, который весь свой век боролся с бедностью, или Канта менее жизни какого угодно вельможи, будь он хоть сам Талейран или хоть даже сам Ришелье, интересна и важна для мыслящего человека, хоть оба они не принадлежат к истории с точки зрения государственного устройства и [их] круг деятельности был чрезвычайно ограничен в отношении к войнам, административным мерам и т. д.? Вы хотите, чтоб в произведениях литературы являлись одни аристократы. Если угодно, соглашусь на это; но только не забудьте того, что,

672

кроме политической аристократии, много и других аристократий: есть аристократия умственная, к ней принадлежат Кант и Гутенберг, и даже Уатт или Жаккард, в жизни которых уж нет даже и интересных приключений, какие есть в жизни Гутенберга; а она, однако, все-таки очень интересна и может доставить для романа или — вы лучше любите поэму — для поэмы гораздо больше содержания, чем жизни всех на свете вельмож, если исключить из числа их гениальных людей, которых, конечно, и между вельможами не так много, как и везде; кроме умственной аристократии, есть аристократия сердца, есть аристократия воли, есть даже аристократия счастья или несчастья в житейском отношении, наконец, есть аристократия разнообразности, анекдотичности жизни, множества необыкновенных случаев, которые так и сыплются градом на какого-нибудь незаметного в других отношениях человека. И всякий из этих аристократов, даже принадлежащий к последнему классу, конечно, самому неинтересному из всех в глазах мыслящего человека, имеет право на ваше внимание, и вы сами не оторветесь от рассказа об их жизни, хоть это и не согласно с вашею теориею. А говорят теперь — а что касается до меня, я тоже говорю это, — что содержание литературного произведения должно, собственно, состоять в раскрытии перед нами внутренней жизни человека: поэтому-то аристократия по богатству сердца или по силе воли и может больше всякой другой доставлять героев для произведения поэзии, литературы. Поверьте, что во всяких классах общества, не только на высоких ступенях богатства или значительности в государстве, а даже на всех ступенях умственного развития найдете вы людей, чрезвычайно богатых чувствами, сердцем, с чрезвычайно энергической волею, а где они вам ни встретятся, везде они сами так и просятся в роман или драму. Возьмем для примера хоть средний круг, потому что мы сами к нему принадлежим и он нам должен быть известнее других: как же можно сказать, чтоб в нем, например, встретили вы меньше драм, основанных на самой горячей любви, чем в высшем? Что мало этих драм, я согласна, но пропорция одинакова и в среднем, и в высшем кругу: человек везде человек, сердце у него всегда одно, и все те же страсти, если не в том, так в другом виде, волнуют его.

— Я не умею не согласиться с вами, Марья Владимировна, и если б даже умел, не осмелился б никогда спорить против вас, — но все-таки гораздо интереснее для меня читать повести, в которых действующие лица взяты из высшего круга, чем те, в которых они из среднего общества.

— Это зависит от личного вкуса, Николай Федорович, а о различии в личных вкусах нечего и говорить: одному нравится то, другому другое, — сказала Марья Владимировна, чтоб прикрыть не совсем ловко мысль и вместе дать разговору возможность прекратиться, и потому, что она была несколько недовольна вовсе некстати сделанным комплиментом. Но он не понял ни того, ни другого и с большим рвением продолжал:

— Нет, Марья Владимировна, позвольте не согласиться с вами; каким невежею не рискую я показаться перед вами, что не соглашаюсь с девицею, а все-таки скажу: нет, Марья Владимировна, это происходит не от капризов моего личного вкуса, а действительно, как я и говорил уж, оттого, что в высшем круге страсти более сильны, более благородны, чем в нашем. Вы указали в пример на любовь — я именно об ней-то и скажу это: в среднем кругу, хоть я постоянно живу в нем, я ни разу еще не мог найти безгранично преданного любви сердца, хоть знаю людей, которые были бы достойны такой любви и сумели бы оценить ее и отвечать на нее, а может быть, и предупредить ее такую же любовью. У меня мало друзей, и между ними никто не выбирал меня поверенным своих сердечных тайн, вероятно потому, что их не было — о пустых вспышках или, если позволите так выразиться перед вами, ухаживаньи во время и на время танцев я не говорю: таких тайн повеяли мне довольно — это, естественно, я могу говорить только о мужчинах¹. Расскажу вам вместо примера два-три случая. Один молодой человек, хорошо мне знакомый, довольно небогатый человек, но с большим умом и поэтому даже с большими надеждами в будущем, если смотреть на все, как смотрят в нашем кругу, с денежной точки зрения, с большими познаниями и сердцем, которому подобное не слишком часто можно встретить, быв в Дворянском собрании, встретил одну девушку; если хотите, я даже могу нарисовать ее портрет, потому что это было не здесь, и я не скомпрометирую ее, хоть она очень бы того заслуживала: довольно высокого роста, с тонкою тальею, черными как смоль волосами и глазами и смугловатым цветом лица, с очень белыми зубами, — тем, впрочем и кончаются все ее достоинства, если только смугловатость должно причислять к достоинствам; нельзя сказать, чтоб остальное было в ней чудом красоты: длинный нос с горбом, брови как нельзя вообразить себе шире, рот большой, губы толстые; я вовсе не хочу сказать этим, чтоб она была урод: напротив, он был человек не без вкуса, и верно не влюбился бы в урода, а дело только в том, что он мог бы найти в зале Дворянского собрания десятки ничем не хуже ее и не лучше ее, но так случилось, она ему понравилась. Он был представлен ей, танцевал с нею несколько раз; она не выказывала ему, правда, никаких внешних знаков любви, но он не мог не видеть, что и он ей нравится; потом он приискал случай войти в их дом, был очень хорошо принят, и роман завязался. Нужно вам сказать, кто такая была она: дочь какого-то выслужившегося и нажившего — вероятно, усердною службою — большие деньги поповича; жили они очень хорошо, особенно потому, что отец продолжал служить. Но у отца ее было пять сыновей и три дочери, кроме нее, поэтому можете судить, что ей не могли ж достаться миллионы, а разве 30—40 тысяч, и то много. Дочери были все погодки, она была третья, так видите, у них было четыре не-

¹ В оригинале списка: о женщинах. — Ред.

весты налицо, и отец с матерью, конечно, употребляли всевозможные средства, чтоб поскорее убавить эту состоящую налицо сумму; потому у них, кроме обыкновенного вечера раз в неделю, еще по крайней мере два-три раза в неделю собиралось танцевать и играть в карты как будто по-семейному довольно много народу, особенно старались сыновья собирать молодежь, могущую быть женихами; а остальные вечера они бывали или в Дворянском собрании, или в театре, или тоже у кого-нибудь на вечере,— знаете, чтоб не пропускать по возможности ни одного случая завербовать жениха. Мой приятель стал бывать на всех этих вечерах у них, старался, где мог, бывать и на других, на которых мог надеяться встретить предмет своего обожания. По естественному ходу вещей он влюблялся в нее больше и больше. Она, сколько кажется, ободряла его любовь; между ними не было формального объяснения в любви, но он не мог сомневаться в том, что она равнодушна к нему: ни с кем она так охотно не танцевала, ни с кем [не] говорила чаще и дольше, чем с ним. Может быть, он мог бы похвалиться и более решительными доказательствами расположения к нему с ее стороны, но он был человек такой скромный, что ничего не могло заставить его высказать это перед другим, хотя бы этот другой был даже такой искренний друг его, как я. Во всяком случае довольно того, что он нисколько не сомневался в том, что его любовь разделается, потому что он был не так самолюбив или так слеп, чтоб видеть любовь там, где ее не было. Раз он приезжает к ним на вечер в такой день, когда нельзя было ждать, чтоб у них был кто-нибудь,— кроме пяти-шести молодых людей, обыкновенно бывавших у них, и трех почтенных людей, составлявших обыкновенно партию в бостон отца ее. Перед тем домом, в котором они жили, стояло множество экипажей,— а в этом доме только и жили они да хозяйни и еще один мелкий чиновник,— ни у него, ни у хозяйна, тоже небогатого человека, никогда не бывало больших собраний, следовательно, гости были у них; он удивился, поднял глаза вверх: второй этаж, который они одни занимали, великолепно освещен,— итак, собрание у них; входит на лестницу — она уставлена деревьями: что за чудо? Уж не получил ли старик ордена, что задает такой пир? Входит — ему объявляют, что Александра Сергеевна (имя его возлюбленной) посватана за капитана Преображенского полка и что ныне обручение. Помутилось в глазах у несчастного, как громом его поразило, однако он собрал последние силы и с улыбкою поздравил невесту и жениха. Она даже не покраснела и очень грациозно отблагодарила его за поздравление и изъявила надежду, что он будет у них на свадьбе. «Буду», сказал он глухим голосом и, не говоря больше ни слова, раскланялся и пошел, почти шатаясь, к дверям. К счастью, присутствие духа возвратилось к нему, прежде чем успел он сделать десять шагов, еще во-время он остановился, так что никто, кроме нее, не мог заметить, что он хотел уйти. У него достало духа пробыть у них весь вечер до обыкновенного времени. Но когда он воротился домой и стал

раздеваться, подававший ему халат мальчик сказала ему: «Что это, барин, чем это красным залита у вас рубашка?» — Он глубоко разодрал себе грудь ногтями, пока сидел такой спокойный по виду на обручении. Дело, впрочем, было очень естественное: у г. капитана было, кроме баронского титула, 750 душ в степной части Тамбовской губернии и два дома в Ревеле, приносящих ему 18 тысяч годового дохода, а у него всех доходов набиралось только до пяти тысяч. Бледный, но стараясь быть веселым, присутствовал он через месяц на их свадьбе. «Что вас так долго не было видно? — спросила его молодая, — вероятно вы были очень нездоровы?» — «Нет, я был совершенно здоров, — отвечал он. — Я проверял все это время физическим опытом над собою: какие сильные электрические удары может выдерживать человек? Я выдержал самые сильные и смеялся над бездушною машиною, которая наносила их». — Она странно посмотрела на него, как будто не понимая, что хотел он сказать, или как будто он сказал что-нибудь нелепое, и холодно промолвила: «А мы иногда беспокоились о вас, что вы вдруг перестали бывать у нас». — Они встречались и после: он был холоден с нею и спокоен, как скала, она с ним любезна как нельзя больше.

И по тону, и по всему даже незнающему ничего было бы ясно, что он говорил о себс. Он до того забылся в своем пылу, что не сообразил даже, что перед самым началом своего рассказа о странной любви своего несчастного друга сказал, что никто из знакомых ему молодых людей не говорил ему никогда, чтоб был когда-нибудь серьезно влюблен, и что, следовательно, он с самого начала выявил, что не может говорить ни о ком, кроме себя; но оскорбленное самолюбие слишком далеко завлекло его. Он так подробно описал семейство, положение, общую наружность изменницы, что нельзя было Марье Владимировне, которая очень хорошо была знакома с ее семейством, не узнать ее. Будто этого было мало, он назвал чин ее жениха и полк, в котором он служил, и его состояние, даже нарисовал портрет ее, — до такой забывчивости довело его жестоко уязвленное ее браком самолюбие. Даже ее имя сорвалось у него с языка: Марья Владимировна, которая хорошо знала все ее отношения к нему, знала, что со стороны Александры Сергеевны, — [так] звали девушку, о которой он говорил, — не было подано ему ни малейшего повода к мысли, что она сколько-нибудь предпочитала его десятку других танцовавших с нею молодых людей, что, напротив, даже было много таких, с которыми она танцевала охотнее, потому что они лучше его танцевали, или больше него говорили с нею, потому что они говорили занимательнее его; видела сама, — потому что на вечерах у них и она встречала его раз пять, да и Александра Сергеевна, которая после странных слов Николая Федоровича на свадьбе догадалась, в чем дело, говорила ей то же самое, что все обнаружения его страсти были так неопределенны, что она просто принимала его иногда восторженную нехотию речь за обычное

676

в человеке, который не принадлежал с малолетства к светскому обществу, неуменье ровно вести себя, «а иногда,— грешила я,— говорила Александра Сергеевна,— я приписывала это и лишней рюмке ликеру, выпитой в буфете»,— что было тем легче, что глаза у Николая Федоровича в это время часто бывали красные, оттого что, как после открылось, он имел тогда привычку часто тереть их руками.

Марья Владимировна во все время этого рассказа сидела, как на иголках. Ей было чрезвычайно смешно такое самоослепление, такое раздраживание себя тою страстью, которая в самом деле вовсе и не существовала, потому что свадьба Александры Сергеевны была всего за две недели перед этим и всего только три дня спустя после обручения был у Ясеневых Николай Федорович, в котором самый опытный глаз и тогда не мог бы открыть несчастного любовника; но еще более было ей неприятно, даже оскорбительно видеть, до чего может доходить желание удовлетворить мелочному самолюбию, как легко может пострадать от таких людей репутация женщины; наконец, язвительный тон, с которым Николай Федорович говорил о всем семействе Александры Сергеевны, не мог не действовать на Марью Владимировну самым неприятным образом. Она очень негодовала на Николая Федоровича, которого, если угодно, в самом деле стоило назвать клеветником, и при малейшем соображении он не мог не понять этого, а, может быть, и понимал, но говорил нарочно.

Я не выдержал, потому что я видел ясно, что Николай Федорович говорит о себе; хотя [я] не бывал в доме у отца Александры Сергеевны, но ее видел у Ясеневых, слышал довольно много от него об этом семействе, слышал и о том, что Александра Сергеевна вышла замуж за преображенского капитана, барона, у которого семьсот пятьдесят душ в Тамбовской губернии и два дома в Ревеле, знал, наконец, что Николай Федорович бывал у них, и не мог не догадаться, что дело идет о ней. Я видел неудовольствие Марьи Владимировны, видел, что она понимает, о ком говорит Николай Федорович, и, понимая настоящий ход дела, не мог не сердиться на Николая Федоровича, что он так дурно говорит о женщине, которая совершенно ни в чем не виновата перед ним, так легкомысленно в удовлетворение пустому мщению играет ее репутацию.

Это хорошая сторона моего гнева, но, должно сознаться, меня бесило также и то, что он выставил себя с такой мелкой, с такой дурной стороны перед Марьей Владимировной, руки которой должен искать по моему предположению. Я хотел уже наотрез сказать, что я знаю историю, которую он рассказывал, что дело было совершенно не так, как он представлял, а вот как и вот как, разгромить его немилосердно. И я было уже начал резким голосом: «Послушай, однако, Николай Федорович...» Но в ту же минуту сверкнула у меня мысль, что если он увидит себя так разоблаченным перед Марьей Владимировной (по лицу его и взглядам

на нее при последних фразах я уже видел, что он предполагает, что она знает, кто этот несчастный молодой человек и эта изменница, о которой он рассказывает), так, пожалуй, он перестанет и бывать у них, и тогда конец моему плану.

И я быстро, но естественно смягчил голос и продолжал:

— Может быть, она не так виновата, как тебе представляется по рассказам твоего друга; нет ничего легче, как ошибиться в подобных делах; вот я сам тебе свидетель: одна очень умная и милая девушка предполагала, что я смертельно влюблен в нее, и очень жалела, что никак не может помочь моим страданиям, во-первых, потому, что была уже помолвлена за другого, а во-вторых, — еще важнее — потому, что любит своего жениха. К счастью, раз ее доброе сердце не устояло против влечения утешить несчастного, и она начала мне толковать о том, что человек не властен располагать своим сердцем, что и она питает ко мне истинную дружбу, наконец, дошла до того, что стала доказывать мне, что она вовсе не так хороша, как, может быть, кажется мне. Долго я ничего не мог понять и стоял, как столб. Она принимала это за отчаяние, с которым я выслушиваю свой смертный приговор. Наконец, бог вразумил меня, в чем дело, мы объяснились, расхохотались, и долго не могла после она без смеха взглянуть на меня. Мы с нею и теперь лучшие друзья, каких только можно найти на свете.

Этот мягкий оборот, который придал я своим словам, между тем как Марья Владимировна ожидала, что я беспощадно обращу в прах Николая Федоровича с его самолюбием, был истолкован ею в мою пользу. «Конечно, вы всегда стараетесь, выводя человека из заблуждения, опасного для него и для другого, не уязвить, однако, его сердца!» — сказала она мне на другой день. И он тоже после сказал мне, что если я ошибаюсь иногда и мог бы по незнанию оскорбить или огорчить человека, то у меня такой мягкий и деликатный способ выражения, и все мои слова так отзываются искренним желанием успокоить, утешить человека, что даже и тогда, когда они совершенно не попадают в цель, ими нельзя оскорбиться, и во всяком случае нельзя не любить меня. Однако, разумеется, мне тем легче было дать своим эгоистическим соображениям потушить свой гнев, что вообще я большой неохотник ссориться с людьми, когда это не принесет никому пользы, — а какая кому польза была бы от моих обличений? Николай Федорович уже, конечно, образумился, и они не исправили бы, а только больше раздражили бы его самолюбие, и так уж слишком раздраженное. Но в ту минуту Николай Федорович был весь так взволнован, что даже и в том кротком и успокаивающем виде, какой я придал своему замечанию, оно еще более подзадорило его:

— Нет, нет, тут этого не было; он был слишком умен для того, чтобы ошибиться, да и я сам своими глазами часто видел его вместе с нею, и хотя был человек посторонний, следовательно, беспристрастный, не мог не заметить, что она очень равнодушна

к нему или по крайней мере показывает вид, что равнодушна. Да она, завлекая его в свои сети, и сама запутывалась в них, но только слегка, потому что у нее не было души, способной к истинной любви, а только мелкое эгоистическое сердчишко, которое способно пококетничать, способно и полюбить, но только такую любовью, которая всегда променяет вас на выгодного жениха. Вы меня извините, Марья Владимировна, что я говорю с таким жаром: дружба — самое святое и, может быть, самое сильное чувство, а я был дружен с этим несчастным молодым человеком так, что всегда готовы мы были отдать друг за друга свою жизнь.

Конечно, ловок был этот эпизод о дружбе: ведь он сам уже давно показал Марье Владимировне, что понимает, что она знает, о ком, собственно, рассказывает он.

Марья Владимировна успела между тем преодолеть свое негодование настолько, чтоб решиться говорить, но она не могла быть, несмотря на свою кротость, так снисходительна, как я, потому что у нее не было таких, как у меня, преступных, можно сказать, причин быть снисходительною.

— Что вы готовы были жертвовать друг другу жизнью, это очень хорошо, но ни в коем случае не должен был он жертвовать вам своими тайнами, особенно когда в них замешана честь женщины, точно так же, как, без сомнения, вы не жертвовали ему своими, если у вас есть тайны. Репутация женщины так марка, от самых пустых, от самых глупых и нелепых слухов она может пострадать так ужасно, потеря ее так невозвратима, что едва ли благородный человек позволит когда-нибудь сказать хоть одно слово, которое может бросить невыгодную тень на честь женщины.

— Да, — сказал Николай Федорович, — женщины всегда имеют право изменять нам, всегда имеют право мучить нас, а мы не имеем права ни одним словом обличить их неверность: они скрываются за свою слабость, и как скоро не только женщина жалуется на вас, а вы жалуетесь на женщину, как скоро вы произнесли хоть одно слово против женщины, вы виноваты, вы уже осуждены: вы мужчина, вы сильны, вы тиран, она слаба, она угнетена. Хороши тираны и хороши угнетенные! Желал бы я знать, сколько на свете мужей, несчастных от жен, тиранимых женами, и сколько жен, угнетаемых мужьями! Верно, результат оказался бы вовсе не таков как предполагают вопящие об угнетении женщины...

Он хотел продолжать. Я с ужасом видел, как разгорается ссора, как готовятся рушиться все мои планы, и поспешил перебить его:

— Полноте, полноте, Николай Федорович, вопрос, который вы поднимаете, давно уж разрешен раньше, чем вы думаете: стыдно вам, такому обожателю древнего мира, не понимать, как он там был разрешен, и если я вам напомню его решение у греков, вам никак нельзя будет не признать его. Так вспомните же Терезия: у Юпитера с Юноною поднялся жаркий спор именно о том же вопросе, о котором сейчас вы говорили, Николай Федорович. Юпитер настаивал на том, что в браке мужчина несчастнее женщины или жен-

щина счастливее мужчины, Юнона утверждала, что напротив. Чуть было они не перессорились, но, к счастью, вспомнили, что есть существо, которое может с полным знанием дела решить вопрос и от решения которого уже нет апелляции — Терезий. Раз, идя по полю, Терезий наступил на двух сплетшихся змей — и вдруг был превращен в женщину; он — или теперь уже она — вышла замуж, жила как совершенная женщина во всем; так прошло семь лет; наконец, идя снова по полю, она увидела снова тех же самых сплетшихся змей и сказала: «Посмотрим, имеете ли силу [вы] переменять пол того человека, который наступил на вас, или можете только мужчину обращать в женщину...» Наступил — и очутился снова мужчиною, как за семь лет. Поэтому он равно хорошо по собственному опыту знал положение и мужчины и женщины, удовольствия и неприятности, которым подвергается в жизни и мужчина и женщина. — Призвали Терезия. Он решил, что положение мужчины в браке выгоднее и приятнее, чем положение женщины. Юпитер, раздраженный тем, что решение было против него, лишил его зрения; Юнона в вознаграждение дала ему дар пророчества, духовное зрение вместо телесного. Вот как смотрели на это дело греки. Ты скажешь: «Это было в древнем мире, теперь другие времена, другие нравы, и отношение между мужем и женою переменилось», — продолжал я, желая выиграть время, чтобы дать Николаю Федоровичу успокоиться и образумиться, а вместе с тем замять разговор, который принял такой дурной оборот: во-первых, ты не вправе этого сказать, потому что ты же сам ставишь греков во всем выше нас, и если уж у них положение женщины было хуже положения мужчины, так у нас равенства здесь еще меньше, и если уж они [были] одарены таким, как ты всегда говоришь, тактом жизни, тактом истинного верного решения вопросов, — это так, мы только можем молчать, принимая их решение. Я, если тебе все еще хочется сомневаться, расскажу историю одного мужа и одной жены.

И я принялся рассказывать длинную повесть об одной жене, которая употребляла все усилия, чтоб как-нибудь захватить себе под башмак своего мужа, который, однако, несмотря на все ее хитрости, держал ее в своих руках. Я придумывал самые смешные положения, пускался, если недоставало настоящего комизма, в фарс, говорил так смешно, что Николай Федорович, который сначала слушал с серьезным и недовольным видом, досадуя, что я мешаю ему с своими глупостями доказывать свое мнение, мало-помалу стал поддаваться очарованию, стал слушать с удовольствием, стал хотеть, как сумасшедший. Только через полчаса, когда я увидел, что вся его горячность и досада прошли, самолюбие замолкло и забыто, привел я к концу свою импровизированную историю. Марья Владимировна тоже забыла свое негодование и развеселилась.

— Я вижу, что мой рассказ вам понравился, — сказал я, окончив. — Не принимаю никакой благодарности, только одна награда может быть мне: спойте что-нибудь, Марья Владимировна, с Николаем Федоровичем.

Николай Федорович сделался вдруг чрезвычайно деликатным — вероятно, от смутного сознания своей прежней неделикатности, — предоставил выбор пьесы совершенно Марье Владимировне, между тем как обыкновенно устраивал так, что пелись его любимые пьесы, и Марья Владимировна была довольна, что может петь то, что нравилось ей. Когда одна пьеса была кончена, он даже сам предупредил ее и предложил спеть другую, которая, как он знал, тоже была из любимых у Марьи Владимировны, но которую он не очень жаловал за чрезвычайную простоту.

— Нет, — сказала Марья Владимировна, — теперь следует ваша пьеса, я не соглашусь одна получать удовольствие.

Когда они кончили, было уже 11 часов, и я встал, чтоб проститься. Николай Федорович, конечно, должен был уйти вместе со мною.

VII

Проснувшись в радостном расположении, я по своему обыкновению хотел насколько возможно долее и полнее поддерживать такое расположение. У меня для этого уже была на этот счет определенная метода действия: я старался весь день проводить по возможности сидя и лежа в самых спокойных положениях, читать только самые интересные в то время для меня книги и все съестные действия совершать как можно великолепно, слаще и продолжительнее. Так и тут я начал задавать себе маленький праздник, начиная с утреннего же чая. Достал сладкие сухарики и т. д., которых было тогда приготовлено у меня довольно большое количество, велел вскипятить сливок, потому что чай с хорошими сливками мне нравится лучше, и полууселся, полуулегся за свое гастрономическое наслаждение. Было очень приятно на душе и во рту: прелестно! Я наслаждался вполне. Но только я допил второй стакан чаю, как мысли мои как-то оторвались от книги, которую я читал, и я подумал: «а ведь когда умрет Владимир Петрович, а Марья Владимировна не будет замужем, пореже придется мне задавать себе такие угощения, потому что это, например, будет стоить 40 коп. серебром», и пошли все мысли, о которых говорил я вам, когда описывал, какое впечатление сделал на меня припадок с Владимиром Петровичем. Скверно, подумал я, скверно! и наслаждение мое несколько как будто затмилось. Но, признаюсь вам к похвале своей, радость, которую внушало мне мое намерение отказаться от своего эгоистического плана, внутреннее довольство собою, которое возбудила во мне мысль, что, признавшись во всем Марье Владимировне, я поступаю благородно, эта самодовольная радость далеко заглушала неприятное чувство о последствиях для меня этого поступка, который снова оставит после смерти Ясенева на моих плечах содержание его семейства, и теперь из-за одного этого чувства я не решился бы изменить свое вчерашнее решение. Только недолго оставались мои мысли в этом положении. Но, естественно, подумавши о том, какие последствия будет иметь для меня смерть

Владимира Петровича, если Марья Владимировна не выйдет замуж к тому времени, я должен был вздумать и о том, какие будут эти последствия для нее: она тоже останется лишенной всех этих удобств жизни, которые так дороги человеку, — какое сравнение между тем, как могла бы она жить, будучи женою Николая Федоровича, которого доходы почти равняются моим доходам, и тем, как будет она жить, когда единственною опорой ее семейства буду я. Я или буду помогать им украдкою от матушки — и тогда я не могу располагать больше, как 700 — 800 р. серебром в год, или открою это матушке, — но матушка, конечно, тоже найдет, что для содержания этого семейства совершенно достаточно этой суммы, больше которой, скажет она, мы и не можем уделить им без большого стеснения для себя, да и 700—800 рублей жертвовать для нас уж довольно стеснительно; итак, она, конечно, скажет, что лучше жить бедно, чем в довольстве, но в зависимости от человека, который сам по своей личности не может сделать ее счастливой. Но бог знает, ведь это так говорится и думается, а кто знает в самом деле, что тяжелее: жить в бедности, или иметь мужем человека, правда, очень ограниченного в сравнении с нею и поэтому тяжелого для нее, но, в сущности, человека очень доброго, человека, который будет любить, я уверен даже, будет высоко уважать ее; что хуже, что лучше — вопрос трудный. Но главное, я думал, что она не согласится никак принимать от меня помощи, — ведь это слишком противно приличиям света, — слишком странно, может быть, даже слишком опасно для ее доброго имени. И ведь я почти не вправе буду противоречить ей, когда она скажет мне: «Лучше буду нянькою, горничною, если не найду себе другого места, чем согласиться принимать от вас деньги; помогайте моей маменьке и моему брату, если вы так добры, но вы понимаете, что я не могу позволить себе жить на ваш счет». — Да, действительно, она пойдет в гувернантки или компаньонки, оставшись сиротою после отца, а кто знает, найдется ли вообще скоро такое место? и тогда — во всяком случае насколько я могу судить по ее характеру и образу мыслей — она, поискав две-три недели, пойдет в горничные, чтоб не жить таким неприличным — и действительно совершенно неприличным — образом на мой счет. Но, положим, хоть найдется место гувернантки: боже мой! как почти всегда тяжело, унижительно, оскорбительно для такой девушки, как Марья Владимировна, положение, которое занимает гувернантка в доме! и как часто оно бывает даже или опасно, или совершенно невыносимо оттого, что в семействе есть некоторые члены, которые захотят... какой-нибудь повеса-сын, или, пожалуй, старый негодяй-отец... разве и этого не бывает? Спрашивается, не гораздо ли лучше быть женою доброго, честного, любящего человека, чем быть в таком положении? Посужу хоть по себе — тяжелый, трудный выбор, но, мне кажется, я решился бы скорее выйти за Николая Федоровича.

Эти мысли забросили большое сомнение в мою душу, и мне стало снова тяжело: должно ли расторгать этот брак, имею ли по

крайней мере право на это? Или должен я предоставить дело естественному ходу? Или должен вести его к сватовству, как вел до этих пор? Теперь я уж не мог совершенно твердо сказать, что я должен делать, но совесть все еще говорила мне, что лучше всего остаться при своем вчерашнем решении. Но поступивши так, как решился вчера, не буду ли думать только о своем спокойствии, о том, чтоб снять с себя нравственную ответственность, а не о том, что, собственно, полезно для Марьи Владимировны? думать о том только, чтоб загладить свои прежние поступки в своих глазах, о том только, чтоб приобрести в своих глазах имя безупречного, не рассуждая о том, что, может быть, дело, начатое мною по эгоистическим соображениям, имеет и другие стороны, кроме той, которая тягостна в нем мне? Лучше буду я чувствовать на душе некоторое беспокойство, некоторое, если угодно, раскаяние, лишь бы только для нее было полезно. Но все еще я и этими мыслями не был отклонен, далеко не был отклонен от своего решения, хоть сильно они заставляли меня призадумываться. Полтора часа я думал об этом, перебирая все вероятности, стараясь поставить себя на месте Марьи Владимировны и сообразить, что лучше для нее при ее уме, характере и образе мыслей и чувствований, старался осмотреть дело со всевозможных сторон, — наконец, решил: «Нет, лучше для нее не выходить за Николая Федоровича. В час еду к ним: отец будет в департаменте, мать будет занята приготовлением к общему обеду и обедом Миши. Марья Владимировна будет сидеть со мною одна, и я признаюсь ей во всем, как хотел вчера вечером, и потом буду расстраивать знакомство Николая Федоровича с их домом».

Я доканчивал без особого наслаждения свой чай, который начал с такой гастрономической изысканностью, как вошел ко мне один мой знакомый молодой человек, очень умный и благородный, которого я от души любил. Не люблю я, если кто застает меня за обедом или за чаем, потому что это стесняет вас и отнимает всю приятность у еды. Но, разумеется, я ни теперь этого не провозглашаю, ни тогда не провозглашал. «А, очень рад, что застал тебя за чаем,— сказал он: — я с большим удовольствием выпью и не один стакан, а три, чтоб доставить и себе и тебе полное удовольствие — ведь ты так любишь угощать, что я стараюсь попасть к тебе к чаю, чтоб дать возможность выказаться твоему амфитрионству, и говоря серьезно, я думаю, что этим делаю тебе одолжение: как же, иногда удобнее было бы побывать у тебя в другое время, и я стесняю несколько себя, чтоб ты получил вознаграждение за скуку, которую может навлечь на тебя мой разговор предоставлением тебе случая удовлетворить свою страсть к хлебосольству». Конечно, отчасти он шутил, но, в сущности, он был уверен, что это в самом деле так, как он думает. — «Очень угадал, брат, подумал я: правда, я непрочь попить чаем другого, только уж нет мне ничего неприятнее, как то, когда мне не дадут напиток как следует, а что за питье при других, при болтовне и шуме? Так-то и всегда мы уга-

дываем чувства и мнения других, — прибавилось само собою у меня в мыслях: вот так же, может быть, верно угадал я чувства Марьи Владимировны, когда решил, что лучше согласиться ей быть гувернанткой, чем женою Николая Федоровича: очень может быть, что я ей хотел оказать такую же услугу, расстраивая сватовство Николая Федоровича, какую оказывает мне мой приятель, расстраивая мне чай».

— Вообрази себе, Андрей Константинович, — сказал он, усевшись, — я прихожу к тебе в самом дурном расположении духа, какому только способен: лечи как хочешь язву души моей. Сейчас я потерял чрезвычайно выгодное место глупейшим образом. Хочешь, я расскажу тебе?

— Да, как же, рассказывай. Рассказать горе — вполнину облегчить его, — сказал я ему.

— Ты знаешь, — сказал он, — как я всегда смеялся над чиновниками, которые служат в военном министерстве, и как жалка мне казалась их участь: там ходят на службу и после обеда, — ты знаешь, как я это ненавижу; и в самом деле, что за жизнь, когда весь день поглощает служба: ни отдохнуть некогда, ни сходить никуда нельзя, я так всегда и называл эту службу каторгою. Вот теперь я и награжден за это: в одном департаменте открывалось очень видное место, жалованья три тысячи, награды большие, кроме того, каждый год можно выбирать или чин, или орден, и претендентов никого не было, потому что нужны для него некоторые специальные познания, которыми я владею; стоило мне показаться, и меня приняли бы с радостью. Представь же себе, что наш общий приятель Федорчуков, который там служит, не сказал мне о нем ни слова, воображая, что я никак не соглашусь служить у них при моей лени, не променяю, видишь ты, решил он, спокойного места с 2 500 рублей, где у меня так мало дела, что не только брать их домой, и в департаменте-то я бываю через день, на это хлопотливое место. «Чудак ты эдакий, — говорю я ему, — слишком ты далеко уж зашел в своей обязательности: мог бы, я думаю, побеспокоить меня, доложить мне — не захочу ли им воспользоваться: немного бы, я думаю, было убытку оттого, что мог бы я выбирать из двух мест лучшее, между тем как теперь сижу на том, какое попало, худо ли, хорошо ли». Разумеется, Федорчуков увидел, что сделал непростительную глупость, и мне даже было его жалко, как он бранил за нее себя, но как ни раскаивайся в глупости, а последствий ее уже нельзя поправить: место теперь занято. Как это можно принимать на себя труд решать за другого дело, касающееся до него, а не до тебя: ведь, я думаю, он меня не приневолит [бы] принять место [тем], что сказал бы о нем: а то нет вот, рассудил, что и говорить бесполезно, оно ему не понравится! Не понравится? Да я б молебен отслужил, получивши его! И на себя досада берет, зачем было так много толковать о том, что служба по их министерству кажется мне проклятием, что никогда я не согласился бы служить у них, и т. д.; и на Федорчукова еще

большая, — просто побить бы обоих нас с ним; да он и сам так говорит. С горя не пошел и в свой департамент, который показался противен, как мимо его проходил, а так уж и пришел к тебе, всеобщему утешителю: утешай, как знаешь, а то увяну во цвете лет.

«Ах ты, боже мой, как нарочно то же самое, что у меня на мыслях!» Именно такую же услугу, как Федорчуков ему, хотел я оказать Марье Владимировне: избавить от беспокойства самой отказать от предложения Николая Федоровича, если найдет его невыгодным для себя. Я крепко призадумался о том, что хотел делать.

— Готов развлекать и утешать тебя, как только могу, — сказал я ему, — но, извини меня, только до часу: в час мне очень нужно быть у Ясневых — знаешь их?

— Нет, я прошу тебя, удели мне этот день до вечера, часов до восьми: я решительно расстроен, — сказал мой приятель, — и мне очень тяжело будет проводить его одному: только на тебя я и надеялся. В восемь часов я пойду к Андриянову, у которого соберется ныне вечером пять-шесть человек молодежи, и, надеюсь, что там не дадут мне предаться своей тоске; в восемь часов отправишься к своим Ясневым, — ведь я думаю, успеешь; сделай милость, если можешь, я прошу тебя. Я у тебя и обедать буду, так как, говорю, я решительно не знаю, как быть. Ужасная тоска разбирает.

Я согласился, потому что человек был в самом деле расстроен. Нечего удивляться, что, толкуя с ним о том, о сем, выслушивая и рассказывая различные приключения, я беспрестанно находил положения, подобные моему настоящему положению: если будешь искать, найдешь везде; решительно никто не делал так, как хотел делать я, а если кто и принимал иногда на себя обязанность решать за другого сам вопрос, касающийся другого, то выходило, что он ошибался; в самом деле, возможно ли рассудительно человеку наобум, потому что ему только так кажется, вступать в чужие права? всякий сам судья в своем деле.

В восемь часов отвез я своего развеселившегося приятеля к Андриянову и оттуда поехал к Ясневым. Дорогою я снова стал обдумывать свое вчерашнее решение — до этих пор, развлекая беднягу, я не имел времени хорошенько подумать о том, что мне должно делать. Нет, в самом деле, слишком большую ответственность на себя я принимаю: рассказать ей, — да ведь это смешно, даже безрассудно, если не быть совершенно уверено, что она решится отказаться: как же это говорить ей: «вот этот человек хочет посватать вас, — не правда ли, он дурак, и вы за него никогда не пойдете?» Для этого нужно быть уверено в том, что она не пойдет, а то введешь ее бог знает в какое неприятное положение: как ей быть и сказать, что она может пойти за него, если посватает, когда вы начинаете свою речь уверенностью, что она не пойдет, потому что он дурак? а потом, как же ей сказать: «я готова пойти за него», когда он еще не сватал и, может быть, и вовсе не будет сватать? Разумеется, почти насильно заставляя ее сказать:

«не пойду» — и если пошла бы. Лучше всего сделать ее саму судьей в ее же собственном деле: расскажу ей совершенно подобный случай, скажу, что я теперь в сомнении, что мне делать, и прошу у нее совета. Именно так и сделаю, это самое благоразумное. И в самом деле, я и теперь не умею сказать хорошенько: может быть, это и было самое благоразумное, что я мог сделать. Только нет: делай, что должно, пусть будет, что будет, а всегда надобно напрямик действовать, а эти умные извороты, тонкие соображения, что окольная дорога лучше, — только самообольщение. Впрочем, и то нужно сказать: хорошо рассуждать теперь, а тогда я решительно не знал, что мне делать, кроме этого: виноват я был, что подлые соображения заставили меня завязать это дело, а как раз оно завязалось, так вышло так запутано, что нельзя много и винить себя, если, распутывая его, только и его больше запутываешь, и сам больше запутываешься.

Приехавши к ним, я старался найти случай поговорить наедине с Марьей Владимировной; найти его было иногда трудно. К моему счастью, был у них один чиновник с женою, и Владимир Петрович, жена его и эти гости сидели уже за вистом, когда я вошел в комнату. Тотчас же я и начал говорить с Марьей Владимировной, о чем хотел.

— Я приехал, собственно, затем, чтоб посоветоваться с вами. Марья Владимировна, как мне поступить в одном очень важном деле.

— Я думаю, что это напрасный труд с вашей стороны, потому что обыкновенно мы не слушаемся советов, а делаем так, как сами думаем.

— Обыкновенно — так, но здесь не то: я твердо решил поступить так, как посоветуете вы.

— Тем хуже для меня: трудно быть судьей в чужом деле («так и есть, подумал я, все и всегда говорит мне: ты не имеешь права сам разрешать того, что касается судьбы другого»). Если можно, освободите меня от затруднительной роли оракула и решайте дело сами, как говорит вам ваша совесть, как требуют от вас ваши убеждения.

— Но я сам имею такое же отношение к этому делу, в какое хочу поставить вас: я должен решить его, а между тем оно касается другого. Я, может, буду пристрастен, потому что дело идет о моем друге, и мне хотелось бы поступить так, как поступил бы на моем месте человек, совершенно свободный от искушения решить его пристрастно. Я прошу вас не оставить меня без вашей помощи в моем затруднительном положении.

— Если так, говорите, что такое?

— У меня есть один знакомый, человек, которого я считаю довольно умным и главное, человеком с чрезвычайно благородною, деликатною душою, человеком, чрезвычайно тяготящимся всякого рода зависимостью. Теперь он живет хорошо доходами с своего не-

большого поместья, которое он получил в нынешнем году после смерти своей тетки, у которой он и жил, которая, как думали, умерла без завещания. Но это завещание нашлось, оно сделано в пользу ее родных братьев, и теперь в их руках, и через два-три месяца будет предъявлено для засвидетельствования в присутственные места, и его противники дожидаются метрического свидетельства и тому подобных документов, которые должны удостоверить, что они те самые лица, которым следует получить наследство. До того времени, когда они будут в состоянии выступить с своими притязаниями, — о которых нет сомнения, что они будут найдены законными, потому что в самом деле, с этой стороны дело ясно, — они, естественно, должны скрывать, что они владеют завещанием, потому что они боятся, опасаясь, что я сам могу как-нибудь узнать их тайну, а потом открыть ее. Очень естественно, что настоящий владелец имения, узнав, что должен лишиться его, постарается все, что можно, обратиться в деньги, — опасение несправедливое, я не имею нужды говорить вам: никогда мой приятель не решится воспользоваться ни грошом, но с их стороны очень естественное. Что особенно неприятно, один из них ловким образом выманил у меня обещание никому не рассказывать того, что он мне откроет, говоря, что ему необходимо посоветоваться со мною, но что дело требует тайны. Я дал обещание. Теперь выходит что же? Через три-четыре месяца приятель мой останется без всяких доходов, потому что место занимает он очень незначительное и значительного не может занять, потому что нигде не кончил курса и чин тоже имеет он маленький — всего губернский секретарь. Между тем у него три брата, которых он должен содержать, и сестра-невеста. Как же им быть? Я придумал было сделать это так: женить его на такой девушке, которая может обеспечить его своим приданым на несколько лет, пока он сам выслужится и будет получать место с порядочным жалованьем. Так я и начал, было, делать, познакомил его с таким семейством, и дело пошло очень успешно. Но меня стало мучить сомнение: он — человек такой деликатный, что ему слишком, мне кажется, тяжело будет жить в зависимости от жены, жить на ее счет; если я оставляю его бывать у них в доме, через три-четыре недели он сделает предложение — через несколько месяцев после свадьбы, оставшись на женином содержании, будет в самом тягостном для него положении; объяснить ему этого дела, к несчастью его, не могу; что же мне делать? Я решаюсь расстроить его. Пусть будет, что будет, я уверен, что ему лучше будет терпеть нужду, чем жить в отяготительной зависимости.

— Трудно сказать, что вам теперь должно делать. Андрей Константинович. Вы рассказали очень запутанное дело. Но скажите, пожалуйста, как вы сами можете решать, что для него тяжелее, бедность или зависимость? Нет, нужду чрезвычайно тяжело переносить. И знаете ли, что я вам скажу, — извините, что я буду так откровенна: обыкновенно мы приписываем своим друзьям такие возвышенные; такие деликатные чувства, каких они в самом деле не имеют, — ведь

поэтому-то мы, а не другие люди, и дружны с ними, что нам они представляются лучше, чем есть на самом деле, а другим такими, как есть, обыкновенными людьми. Уверены ли вы, что не ошибаетесь точно таким же образом насчет вашего друга, не преувеличиваете его деликатности, его любви к независимости, не воображаете себе, что жить на женин счет будет для него гораздо тяжелее, чем в самом деле это будет для него? А я почти уверена, что вы преувеличиваете это. Знаете, ведь очень редко попадаются люди, которые много отличались бы в чем-нибудь от обыкновенных людей: разница бывает, но ведь эта разница только очень заметна, а не то, что в самом деле слишком значительна. Это все равно, что рост: если Петр ростом два аршина пять вершков, а Иван два аршина восемь вершков, то Иван уж и кажется нам богатырем перед Петром. Мы так за версту отличаем их по росту и говорим, что они разнятся друг от друга, как небо от земли, что перемешать их друг с другом никак нельзя. Оно и действительно, разница чрезвычайно резкая, очень бросающаяся в глаза, а велика ли она на самом деле? всего три вершка; почти все, что достанет один, достанет и другой, чего не достанет один, не достанет и другой. Очень мало людей, которые в жизни отличались бы существенно образом чувств от обыкновенных людей, а об обыкновенном человеке нечего и говорить, что жить на женин счет несколько лет для него вовсе не тяжело, вовсе даже не противно деликатности, и он не слишком-то станет мучиться этим. Но главное, как же можно располагать судьбою другого без его спроса? Ведь вы низвергаете его в бедность единственно потому, что вам кажется, что для него так лучше, — какое вы имеете право на это? Пусть сам он обсудит, выберет, решит. Да разве выбор не всегда будет в его руках? Если он уж такой деликатный человек, как вы его себе представляете, если ему уж так тяжело будет жить на женин счет, то ведь он и не захочет воспользоваться ни одною ее копейкою: не всегда ли это будет в его власти? Но, главное, не забывайте того, что почти всякий человек гораздо слабее того, чем как думают о нем люди, подобные вам, если они его друзья: вы слишком склонны ценить достоинства в другом, это очень хорошо, это истинно человеческое чувство, но оно часто может вводить вас в ошибки в практической жизни — верно вам часто уж случалось считать отъявленных взяточников честными людьми? В ком нет многих очень хороших свойств? Разумеется, тот сам одарен благородным характером, кто прежде всего заметит их и во всяком оценит человеку. Но как же можно представлять себе всех Сократами, героями добродетели, бескорыстия, самоотверженности, и т. д.? Положим, у вас идет дело в суде; чиновник, у которого оно было в руках, чрезвычайно хлопотал о нем, сделал то, что оно решено в месяц вместо того, чтоб могло протянуться год: прекрасно, значит, он хороший человек; да не смешны ли вы будете, не всегда ли почти обманете его ожидания, если по окончании дела не поблагодарите его за его хлопоты? Разумеется, из тридцати таких чи-

новников может встретиться вам один, который и откажется от вашего подарка, из тысячи найдется один, который даже может обидеться вашим предложением его, — но не предложивши его всем остальным, вы поступали вовсе не так, как следовало вам поступить, вы, можно сказать, обманете их, возведши их в герои добродетели. тогда как они просто обыкновенные добрые, хорошие люди, которые никогда не прочь от всего, что может принести им пользу, не подводя их под наказание от законов или под слишком прямые упреки света, или, лучше всего сказать, что не противоречит общепринятым в свете мнениям. Не предложив благодарности чиновнику, который хлопотал о вашем деле, вы почти всегда будете Дон-Кихотом, который и не думает платить хозяину гостиницы за постой. Действовать в отношениях к людям, основываясь на том предположении, что они выше обыкновенных людей, выше общепринятых мнений, правил и чувствований, значит почти всегда быть Дон-Кихотом. Считайте кого вам угодно человеком выше обыкновенных людей, но только считайте его до тех пор, пока он не будет ничего терять от такого взгляда на него, а как скоро вы должны через это вовлечь [его] в какие-нибудь пожертвования, пожалуйста, предоставьте ему самому возможность выказать в самом деле, герой он, или просто хороший, добрый человек, неспособный к жизни на седьмом небе, неспособный питаться росой и благовониями, которые вы курите ему на алтаре вашего сердца: пусть сам выбирает, что хочет, а если вы примете на себя труд решить за него, что это дело слишком щекотливое для его деликатности, что он при тех возвышенных чувствах, которые вы приписываете ему, неспособен не отказаться от этой выгоды, — поверьте, вы почти всегда ошибетесь, почти всегда останетесь перед ним виноваты в том, что он, если можно так сказать, обездолен вами, вы, можно сказать, дон-кихотскою взыскательностью обокрали его, — а в том случае, о котором говорите вы, вы почти всегда можете быть уверены, что лишили человека куска хлеба, о котором он очень и очень жалел бы, если б знал, что вы наделали.

«Что ж, разве не может быть так в самом деле?» — подумал я. Что ж мне оставалось делать после этого? Марья Владимировна сама произносит свой приговор. «Пусть же будет, что будет, — подумал я: — выбор в самом деле должен быть предоставлен тебе! Бог знает, не преувеличиваю ли я в самом деле смешным образом твои хорошие стороны. Ты — девушка очень умная, очень добрая, с прекрасным, благородным сердцем, в этом нет сомнения; слова, которые сказала ты сейчас, еще больше удостоверяют меня в том, что ты очень умная девушка, но они же заставляют меня решительно отказаться от своего вчерашнего дон-кихотского — именно, ты говоришь правду, дон-кихотского намерения: «вы все судите о людях по себе»: если ты предполагаешь так немногих способными отказываться от житейских выгод для утонченных деликатных соображений, не должно ли сказать, что в тебе самой очень силен элемент, приковывающий

тебя к житейским выгодам? что ты сама можешь решиться не так, как решился бы за тебя я? И спрашивается, как решился бы я сам на твоём месте? Нет никакого сомнения, я не отказал бы Николаю Федоровичу — уж одно то очень хорошо доказывает [это], что я для этих мелких житейских расчетов решился на такую, по моему, подлость, как то, чтоб выдать тебя за Николая Федоровича. — Способен ли [я] после этого низкого поступка к такому поступку, на который способною предполагаю тебя? Нет. Где же, спрашивается, люди, которые были бы способны на него? Я никого не знаю, и если ты исключение, то на исключение никто не имеет права рассчитывать, особенно, если дело не о нем, а о счастье, участи, о целой жизни другого. Решай сама, потому что выбор будет всегда в твоих руках: он делает предложение, ты можешь принять или отказаться, как угодно, я не отниму у тебя возможности выбора».

Ну, нечего и говорить, что как скоро Николай Федорович сделает предложение, ей не [будет] почти никакой возможности отказаться от него, — отец стал бы настаивать всеми силами, нет сомнения, откроет даже, если она своею твердостью в отказе доведет его до того, что он скоро должен умереть, что она должна выйти за Николая Федоровича, чтобы мать и родные не остались без куска хлеба, — и она пожертвует своим счастьем. Но ведь кто поручится опять, что и это не то же дон-кихотство, не то же возведение в Дульсиней? Нет, предоставляю все на твоё решение, я не вправе говорить «нет», когда ты можешь [сказать] «да», когда мое «нет» оставит тебя нищею вместо того, чтобы жить тебе в довольстве».

Вот видите, как расстроилось мое так твердо принятое накануне решение: в каждой своей мысли, в каждом чужом слове я встречал противоречие ему. Уж и до этого случая три или четыре раза приводилось мне точно таким же образом решаться расстроить знакомство Николая Федоровича и через несколько часов опять оставлять своё решение, и после этого третьего раза я опять едва бы не решился на то же самое; но со времени этого разговора противоречие самой Марьи Владимировны уже придало слишком значительный вес на ту чашку весов, что стало нужно, чтоб дело дошло до конца, чтоб Марье Владимировне была возможность выбирать между бедностью и предложением Николая Федоровича, и я уж гораздо легче побеждал свои сомнения.

VIII.

Сватовство.

Но все-таки мое положение было несносно: совесть или что-то подобное очень беспокоило меня, и тем деятельнее старался я поскорее довести Николая Федоровича до сватовства: тогда уж одно что-нибудь, думал [я], и не буду в неизвестности; уж чем скорее конец, тем лучше.

Николай Федорович посматривал с наслаждением на Марью Владимировну, видно было, что она ему нравится; она сама старалась как можно лучше обходиться с ним, — он еще больше увеличивал ее благосклонность к нему. Я видел, что подходит время, когда можно заговорить с ним о сватовстве, и ждал только какого-нибудь случая, который бы больше расположил его к Марье Владимировне. Этот случай скоро нашелся. Было начало мая. 9 мая Николай Федорович был именинник, и я узнал, что старики Ясеньвы, не имея возможности сделать покровителю Миши дорогого подарка, вздумали, чтоб Марья Владимировна вышила шелком картинку для поупитра, — знаете, эти маленькие поупитры, которые ставят на столах, чтобы класть на них книгу. Она, разумеется, вышила, Миша отправился поздравить своего учителя и вручил ему от имени всех этот подарок. Николай Федорович, видевший несколько раз работу Марьи Владимировны, не закрытую по забывчивости или потому, что он входил нечаянно, тотчас угадал ее и был чрезвычайно доволен такою внимательностью. «Сама вышивала! Такая умная, такая прекрасная девица, такая красавица — и вышивала для меня! И сколько тут нужно было трудов! Ведь это не то, что вышивать гарусом по канве: то топорная работа, а за этим сколько нужно просидеть, сколько нужно и искусства! И какой превосходный вкус! И какая удачная мысль — я уверен, что эта мысль принадлежит ей — вышить поупитр! Она понимает, что для нас, ученых людей, нет ничего дороже того, что относится к книгам. Мило, мило! И как верно угадан мой вкус! Если б я сам выбирал картину, я из тысяч выбрал бы именно это. Что за милая девица! Ну, как же это так верно угадала мой вкус! Она хорошо должна знать меня, она для этого наблюдала меня, значит, я заслуживаю ее внимания, значит, она обращает на меня внимание!» Он только не открывал, может быть, хорошенько себе, а он уж был недалек от мысли, что, может быть, он и очень нравится Марье Владимировне, что она, пожалуй, и призадумывается о нем.

Самолюбие его заиграло непопусту; в самом деле, очень хорошо вышитая картинка была выбрана с большим вкусом и могла хоть кому очень понравиться. Николай Федорович просто восхищался ею, но нечего и говорить, что больше всего заставлял его восхищаться поупитром не вкус, а то, что ему подарили такую прекрасную вещь. Он был приглашен на обед к Ясеньвым и расточался в любезностях Марье Владимировне; она тоже старалась быть с ним сколько можно милее, и я с удовольствием видел, что он просто приходит от нее в восторг. — «Хорошо же, подумал я, будем ковать железо, пока горячо». Вечером были у него гости, в том числе и я. Он, разумеется, похвастался своим поупитром; все, разумеется, чрезвычайно хвалили его, потому что в самом деле можно было полюбоваться им. Я, сколько мог, старался тайком усиливать похвалы, нет-нет — и опять обращал общее внимание на поупитр. Вечер кончался маленькою закускою с тостами, и мы хотели пить первый тост за здоровье Николая Федоровича. «Нет, господа, —

закричал он: — первый гост в честь той, чьи прекрасные ручки вышивали эту чудную вещь, — и он поднял в руке пюпитр, — чьи прекрасные глазки томили себя по целым часам за эту трудную работою, чьи милые уста так приветливо ныне улыбались мне!»

На другой день после этого я зашел к Николаю Федоровичу.

— Ну, что ты подделываешь?

— Да очень рад тебе, что пришел... ничего, сижу, лежу один и скучаю.

— От тебя ж зависит быть одному.

— Как от меня? То-то и дело, что, видно, не от меня.

— От кого ж, скажи, Христа ради? Не от меня же, я бы не дал тебе изнывать в одиночестве, если б это от меня зависело.

— Да уж не знаю, от кого, только и не от меня: я давно уж подумываю, что пора жениться, да вот до сих пор и признаков никаких нет, чтоб жениться скоро.

— Будто ты серьезно говоришь это?

— Как нельзя серьезнее: хоть до сих пор не женился, а уж давно я подумываю о женитьбе.

— Это все от нерешительности, а, может быть, оттого, что ты слишком разборчив на невест.

— Нет, напротив, я не требователен.

— Так за чем же дело стало? Выбирай да женись, только поскорее, а то, признаться тебе, ты уж давно толкуешь о женитьбе, и так мало подвигается у тебя дело вперед, что, хотя я и сам еще не женат, я не теряю надежды, что ты дождешься моих внучек: тогда уж, как хочешь, женю волей-неволей. Чего в самом деле ты ждешь? не до седых же волос? Ведь тебе уже двадцать восемь, в тридцать пять, по моему мнению, человек уже делается старым холостяком. Другое дело, если б твои доходы не позволяли тебе, а то, слава богу, вы можете жить. Мне, признаюсь, очень хотелось бы тебя женить, только не знаю на ком. Ну, да не маленький, я думаю, сам выберешь, — или уж почти и выбрал, только не можешь решиться.

— Да прямо тебе сказать: Ясенева более других мне нравится. Правду сказать, у других-то ни у кого почти я и не бываю теперь.

— Так что ж? если нравится, за чем стало дело? Не думал я этого, а то давно б следовало тебя предупредить, что мешкать тут нельзя; если не хочешь, чтобы выскользнула из рук: с неделю тому назад тот чиновник, который часто бывает у них, — знаешь, довольно полный, лет под сорок, однако прекрасный мужчина, — намекнул отцу что-то о том, что он не прочь бы сделать предложение, да не знает, как будет принято оно Марьей Владимировной, что, может быть, она не захочет итти за человека, который почти двадцатью годами старше ее. Сказано это было, разумеется, в общих выражениях, но как нельзя яснее, и наш старик, пожавши ему руку, благодарил за расположение к ним. Ясенев советовался со мною об этом. Марье Владимировне еще ничего не говорил он,

но знает, что, хоть и старенек жених для нее, в угоду ему она пойдет. Ясенева и самого смущают его лета, а в остальных отношениях он совершенно доволен женихом, с которым большой приятель; он отдаст за него с большим удовольствием. Однако и то следует сказать, что ты сам его знаешь: он — человек прекрасный и только по одним летам не годился бы в мужа Марье Владимировне. Тебе, конечно, всегда отдадут преимущество, потому что ты во всех отношениях лучше его и даже доходов у тебя не меньше, чем у него, а современем, конечно, будет больше; но главное, что ты пара с нею по летам, и он, кажется, не без удовольствия выслушает твоё предложение. Понятно, что я не мог без большой необходимости предлагать это, потому что дело еще не состоялось, и неизвестно, состоится ли, когда услышат, что ты имеешь на нее виды; так должно предупредить тебя.

Нечего и говорить, что я выдумал на старика небылицу.

На другой же день Николай Федорович отправился к Владимиру Петровичу и довольно ясно высказал свои намерения, чтобы узнать, благосклонно ли они будут приняты. Старик отвечал в том смысле, что, собственно, это дело Марьи Владимировны, а что касается до него, то он готов с радостью. Николай Федорович дал понять теперь, что он через неделю попросит решительного ответа и что Ясенева должен спросить, согласна ли будет Марья Владимировна принять его предложение.

Дело, как видите, приходило почти к концу, но на мое счастье расстроилось очень простым образом. Вы могли уже заметить, что Николай Федорович, хотя старался быть человеком осторожным, но никак не мог не проболтаться: это почти со всеми так бывает. На третий день после этого был он у одного из своих знакомцев, принадлежащих к купеческому кругу. Николай Федорович начал толковать о том, что скучна и неприятна жизнь холостяка. Приятель был живой и веселый малый, особенно любящий свадьбы.

— Что ж ты, братец, жениться, что ли, хочешь? Могу и рад услужить. Или уж у тебя есть и невеста? А то порекомендую славную.

— Нет, у меня нет еще в виду ничего решительного, — сказал Николай Федорович, с одной стороны, потому, что в самом деле еще не было ничего решительного, и ему неловко было говорить о своем сватовстве, которое может кончиться ничем, с другой — и это главное — потому, что ему хотелось послушать, что это такая за невеста, на которой может он жениться, если захочет.

— Ну, тем лучше, — сказал приятель, — что не нашел еще, потому что такой уж, верно, не нашел бы. Дом в двадцать тысяч доходу да чистыми деньгами восемьдесят тысяч, да тряпок тысяч на сорок будет; кроме того, квартира готовая у тестя в доме, пятнадцать окон, и все обзаведение, и мебель, и всё, и экипажи, и лошадей четверка. А после тестя достанется тысяч двести деньгами да дом либо тот, в котором живут, либо тот, что на Гороховой — все равно по двадцать пять тысяч доходу приносят; их

всего у них две дочери, потому что сын уж выделен. А старику шестьдесят пять лет. Однако не хочу скрывать: старик очень крепкий, — может быть, и вас обоих переживет.

В голове у Николая Федоровича все переверотилось вверх дном. «Господи! Двадцать тысяч дохода, да еще поступай на все готовое! А если умеючи управлять, так и тридцать да еще, пожалуй, с лишком. Да наследства еще в полтора раза больше! Господи! Да это так хорошо, что не может быть! не отдадут!»

— Да как же это ты сам не женишься? — сказал Николай Федорович, чтоб объяснить себе этот пункт.

— За меня не отдадут, потому что я не дворянин, чин тоже у меня мал, да и не получу скоро большого, — видишь, я не из ученых, так и долго приходится лямку тереть. А за тебя отдадут: ты уж и теперь коллежский ассессор, а если тебе в руки достанется такое состояние, через пятнадцать лет и генералом будешь.

В самом деле, и теперь еще возможны такие выгодные свадьбы, а за двадцать лет стремление в купечестве отдавать дочерей за чиновных лиц было еще гораздо сильнее, и Николай Федорович сам сообразил, что дело очень естественное и сбыточное.

— Ну, так что же? Если хочешь, я и познакомлю тебя с ними завтра же, и фамилию тебе сейчас скажу.

Николай Федорович уже успел овладеть своей радостью и оценить себя в самом деле стоящим — и очень стоящим — такой невесты женихом.

— Да, может быть, она урод какой-нибудь или дура?

— Подлец, что ли, я, что стал бы тебе предлагать урода или дуру? Умница, красавица. А что это ты думаешь так, потому что как же не нашла еще жениха, так ей, брат, всего два месяца минуло шестнадцать лет, из купцов трое-четверо уже подсылали свах, да они не хотят за купца, а хотят за чиновника, и чтоб непременно помещик; ну, а в чиновном кругу на твое счастье, если захочешь воспользоваться, еще не успели узнать об этой невесте: до сих пор в пансионе была (уж как по-французски говорит — так и режет, как будто из магазина сейчас), так никто и не видел, и не думал о ней; а теперь, брат, не дадут залежаться: вот я сказал тебе, а другой другому, так через два месяца лучше уж и не суйся, и помину об ней не будет.

— Так кто ж она такая?

— Да ты сватать, что ли, хочешь? А то не скажу. Ваша братья и так все смеется над купцами, что свах рассылают по женихам. Это, брат, не такие, а сам зашлешь сваху, да еще не одну.

— Я тебя серьезно спрашиваю.

— Ну, если так, дело другое. Купца Уткина дочь, знаешь, дровами торгует?

— Знаю, и дом знаю, в котором живет.

— Ну, может быть, и тот знаешь, который в приданое будет?

да как не знать: против Михайловского манежа, по той стороне, что к Фонтанке, красный с колоннами, в четыре этажа.

Николай Федорович знал и этот дом: дом в самом деле был прекрасный и при хорошем управлении мог приносить даже больше двадцати тысяч.

— Так завтра, брат, едем. Ты ко мне, или лучше я к тебе?

— Как хочешь; хоть ты ко мне, — это ближе будет.

На другой день Николай Федорович в самом деле был у Уткиных. Невеста была нельзя сказать, что хороша собою, но молоденькое, пламенное личико, еще не успевшее расплыться, понравилось национальному вкусу Николая Федоровича, да [и] всякому могло, пожалуй, понравиться; по уму была она ему как раз впору: ни глупа, ни умна, а середка на половинке; дело сладилось как нельзя лучше: Николай Федорович, как человек солидный, очень понравился Уткину: он видел, что деньги его не будут промотаны и что дочери будет хорошо жить за таким человеком: между чиновниками, которые женятся на купеческих дочках, и солидность, и хорошее обращение с женою не то что редкость, да и не так часто попадается, особенно в тогдашнее время; наконец, нельзя было сомневаться в том, что Николай Федорович скоро может дослужиться до больших чинов. Важно было и то, что он был помещик, — Уткину это чрезвычайно льстило: «За дворянина отдал да не за шаромыжку какого-нибудь, а у самого поместье, в дворянских выборах участвует». В дворянских выборах, правда, Николай Федорович не участвовал, но до сотни душ было в самом деле недалеко, и прихвастнуть было позволительно. Через полторы недели Николай Федорович был уже обручен, и свадьба назначена через месяц.

До того дня, в который должен был явиться Николай Федорович к Ясенывым за решительным ответом, его не ждали у них: конечно, ему было неловко бывать у них до того времени; но пришел назначенный день, ответ был готов, а он не являлся. А у Владимира Петровича между тем тоже готовились к обручению. Как ушел Николай Федорович, Владимир Петрович пошел к жене и объявил желание Николая Федоровича: «Если и ты согласна иметь его зятем, так дело будет зависеть уж только от Маши; спросим ее, согласна ли она итти за Николая Федоровича; мне Николай Федорович кажется таким женихом, лучше которого и ждать и желать грешно». Варвара Семеновна (так звали Ясеневу) вполне согласилась с ним, что лучше Николая Федоровича и не может быть жениха для Маши и что остается только благодарить бога, который не забывает бесприданниц. Владимир Петрович взял на себя говорить с дочерью, потому что лучше жены сумел бы, если б понадобилось, растолковать Маше все выгоды и всю необходимость такого брака. Она, ничего не предполагая, сидела в своей комнате.

— Мне с тобою, Машенька, нужно об очень важном деле переговорить, — сказал, входя и затворяя дверь, Владимир Петрович.

Марья Владимировна смутилась от такого торжественного начала: «Господи, уж не о женихе ли каком-нибудь? Кто ж это? уж не Андрей Константинович ли»? О Николае Федоровиче и не пришло в голову, потому что она не воображала его никогда партией для нее, и она думала, что бывает он так часто, собственно, потому только, что чрезвычайному его самолюбию приятен чрезвычайно ласковый, радушный, даже почтительный прием, какой он встречает у них; а отец с матерью так няньчатся с ним (как она называла это мне), думала она, для брата, отчасти для того, чтоб продолжал быть к нему расположен и помог ему быть замеченным начальством, отчасти из благодарности, что он уж оказывает ему так много расположения.

— Да не пугайся, друг мой: я хочу сказать тебе не страшное что-нибудь, а приятное; только нужно тебе собрать все свое благо-разумие, чтоб поступить как следует.

Он помолчал несколько секунд.

— Николай Федорович тебя сватает. Мы с маменькою отвеча-ли ему, что решение от тебя будет зависеть. Ну, что ж ты ска-жешь, ангел мой? Подумай хорошенько. Вразуми тебя господь.

Несколько времени Марья Владимировна не отвечала, как будто в самом деле обдумывала решение; но не потому, что об-думывала, молчала она, а потому, что не могла сначала притти в себя от изумления.

«Николай Федорович сватает! — Она никогда себе этого не воображала. — Как же это могло притти ему в голову?» Опра-вившись несколько, она сказала как можно нежнее, чтоб смягчить неприятность своего ответа для отца, который, как видела она, ожидал от нее согласия:

— Надобно поблагодарить его, папенька.

ПОНИМАНИЕ

«Не судите».

— Послушайте, Вольфганг едет сюда, — сказал отец Гёте, входя в комнату, в которой сидели его жена и дочь.¹

Жена была поражена и обрадована этой новостью. Быстро мелькнуло на ее лицо живое чувство, она сделала движение, как будто хотела встать; но не встала, чувство стало как-то быстро замирать, оставляя по себе на лице только какие-то слабые следы, которые не могли даже ослаблять его уныло-утомленного выражения. В первую минуту можно было подумать, что она вскрикнет, но она произнесла тихо, хотя не совсем спокойным голосом.

— Едет?

Дочь не была удивлена, — брат уже писал ей, что ему велели ехать домой для поправления здоровья.